

821.161.2  
Г61

САВВА  
ГОЛОВАНОВСКИЙ

Это



КАСАЕТСЯ  
ВСЕХ



**САВВА  
ГОЛОВАНОВСКИЙ**

**ЭТО  
КАСАЕТСЯ  
ВСЕХ**

**68603**

**НАУЧНАЯ БИБ**  
Киевского Орде  
Политехнического

**ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“  
МОСКВА 1959**

## **ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ**

Читатели радуются, когда каждая грань творчества художника отмечена чертами нашей советской действительности и чертами его собственного видения мира, выражается ли это в интимной лирике, или в драматургии, или в публицистической прозе.

Хотя почти все наши писатели выступают в различных жанрах, все же каждый, обращаясь к публицистике, сохраняет свой, так сказать, поэтический голос. Читатель легко узнает, например, среди украинских поэтов Павло Тычину даже в его вдумчивых аналитических научно-исследовательских трудах, Максима Рыльского — в его проникнутых лирическими обобщениями литературно-критических работах, Миколу Бажана — в его сдержанных, но ярких публицистических выступлениях...

Читателям всех республик СССР хорошо знакомо имя украинского советского поэта Саввы Головановского, автора десятков сборников стихов, вышедших в русских переводах («Ожидание встречи» — 1935 г.,

*«Встреча Мариш» — 1938 г., «Встреча солнца» — 1946 г., «Избранное» — 1956 г.); сборников очерков и рассказов («Поединок» — 1941 г., «Мсти, воин!» — 1942 г., «Вера в свою звезду» — 1943 г., «Грозен Днепр» — 1943 г. и др.); ряда драматических произведений в стихах и в прозе («Смерть леди Грей» — 1934 г., «Мария» — 1936 г., «Доля поэта» — 1939 г., «Солнечная сторона» — 1951 г., «Первый гром» — 1957 г., «Катерина» — 1958 г. и др.).*

*Один только этот далеко не полный перечень сам по себе свидетельствует о большой активности писателя, о широком диапазоне его творческих интересов. Именно этим и определяется индивидуальный облик Саввы Головановского как поэта, драматурга и прозаика: его привлекают многосторонние проявления человеческой личности, он неизменно откликается на волнующие вопросы времени и сам стремится живым словом повседневно участвовать в делах своих современников.*

*Так возникли стихи и поэмы о комсомольцах на стройках первых пятилеток, рассказы и очерки о Днепрострое, правдивые фронтовые рассказы о героях Великой Отечественной войны, произведения о советской жизни послевоенных лет.*

*В то же время писателю присуще постоянное ощущение связи времен: он охотно входит в мир значительного круга историко-культурных и историко-рево-*



*люционных событий и деятелей разных эпох, создавая поэтические и драматургические образы В. И. Ленина и А. М. Горького, Тараса Шевченко и его современников, Андрея Желябова и Софьи Перовской.*

*Гражданский пафос присущ не только поэтическим произведениям Саввы Головановского, но и его публицистике. В ней обнаруживаются те же характерные особенности: тяготение к конфликтным, драматическим темам и ситуациям, к острым жизненным проблемам как внутренней, так и международной действительности.*

*Отсюда и напряженный, нередко полемический тон большинства публицистических статей и многих зарисовок Саввы Головановского, в том числе и собранных в этой книге.*

*Писателя волнуют исторические судьбы народов Европы, он страстно ратует за мир во всем мире и вместе с тем с горячей заинтересованностью трактует вопросы воспитания детей или наболевшие темы культурного обслуживания трудящихся. Самые понятия «большого» и «малого» в нашей жизни приобретают в его произведениях иногда совершенно неожиданное значение и из самого, казалось бы, незначительного явления вырастают весьма важные общественные проблемы.*

*На материале драматического судебного процесса, слушавшего дело о зверском убийстве в одном из киев-*

ских городских парков молодого лейтенанта авиации, который заступился за оскорбленную женщину, публицист строит впечатляющий разговор о коммунистической морали, об ответственности каждого за воспитание молодого поколения строителей нового общества. На первый взгляд мелкий как будто бы факт грубого обращения с посетителями девушки, работающей на почте, также представляет существенный интерес — ведь девушка имеет дело с сотнями рядовых советских тружеников, рассчитывающих на чуткое отношение к своим простым ежедневным бытовым нуждам.

Автор сборника не ставил своей задачей показывать исключительно отрицательные, мешающие нашему движению вперед явления. С искренней теплотой раскрывает он образы людей чудесной души, самоотверженных советских патриотов, зодчих коммунизма, повествует о подлинной дружбе людей социалистического общества.

Офицер Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, Савва Головановский написал не один очерк, не одну газетную корреспонденцию прямо с фронта, непосредственно из-под огня сражений. В них реально запечатлелись грозная поступь незабываемых дней, бессмертный героический подвиг народа. Эти очерки, помеченные памятными датами: «1942, март, Юго-Западный фронт» или «1943. Район Воронежа»,—

*и сегодня заставляют нас заново ощущать всю чудовищную преступность фашизма, свободолюбивый дух советского народа, заставляют с новой силой бороться за укрепление мира и дружбы между народами.*

*И рядом с военными очерками так уместны в книге гневные публицистические выступления советского писателя против тех, кто вновь пытается разжечь пламя ненависти и антагонизма между странами, то ли выпуская какие-то игрушечные глобусы с фальсифицированными — реваншистскими — государственными границами, то ли застраивая своими военными базами и аэродромами так называемые «нейтральные» страны...*

*Страстный голос незаурядного публициста звучит убежденно, веско, уверенно, а картины и образы, встающие со страниц книги, кажутся знакомыми, заставляя читателя принимать их близко к сердцу...*

*Нужно заметить, что не всегда при чтении публицистики Саввы Головановского соглашаешься с автором,— напротив, нередко возникает желание и поспорить с ним по поводу того или иного тезиса. Но в этом также примета полемической остроты, подчас необычности или непривычности постановки вопроса, а подчас и взгляда, обращенного писателем в ту сторону, куда еще никто до сих пор внимательно не посмотрел...*

*Недаром многие очерки и рассказы Саввы Головановского, в свое время опубликованные в газетах, порождали оживленную дискуссию — и в печати, и в мно-*

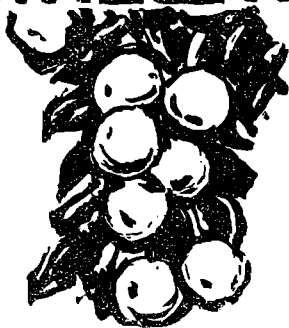
гочисленных читательских письмах. Может быть, по этой же причине, будучи собраны в книге, эти очерки и рассказы не кажутся «устаревшими однодневками»: они легко сходят с газетной полосы и продолжают участвовать в жизни и борьбе народа.

Леонид ХИНКУЛОВ

**ДЕНЬ**



**НЫНЕШНИЙ**





## *Хороший год*

**М**не кажется, что всякий раз, когда мы садимся за новогодний стол, было бы справедливо вспомнить добрым словом Петра I, так как именно он ввел этот прекрасный обычай для наших прадедов. Судя по характеру самого праздника, можно не сомневаться, что великий царь вкладывал в свое нововведение куда больший смысл, нежели простое желание дать нам еще один повод к веселому времяпрепровождению.



Ведь Новый год — настоящий общечеловеческий праздник. Все люди, независимо от того, в какой стране они живут и на каком языке разговаривают, думают в этот вечер об одном и том же: как они жили, как творили, как создавали прекрасное в минувшем году и как собираются заниматься этими полезными делами в будущем! Так не пекся ли Петр, вводя новогодний праздник в России, еще об одном звене в благородной цепи, объединяющей помыслы и надежды народов?

XX век ознаменовался великими открытиями и глубочайшим проникновением в извечные тайны. Мы присутствуем при ярком расцвете разума. Но как ни прискорбно, это замечательное свойство человека имеет обыкновение развиваться за счет его непосредственности в изъятии порывов и чувств. Недаром высшим проявлением благовоспитанности в наше время считаются сдержанность и даже умение скрывать свои эмоции... В результате мы заметно поотстали от наших прадедов в умении веселиться и шалить в дни торжеств и праздников. Мы уже не устраиваем под Новый год ни «пиротехнических воспалений», ни «огненных потех», а своей новой квартиры на двадцать третьем этаже нового высотного здания не украшаем можжевельными ветками... Но ведь каждое время поет свои песни... И если празднично разукрашенную елку мы считаем лишь милым развлечением для детей, то это вовсе не значит, что мы оставляем себя в обиде! Наша радость — в умении широко мыслить, сопоставлять факты и предаваться воспоминаниям. Нашим пращурам такое занятие наверняка показалось бы скучным для праздничного времяпрепровождения... Зато и их «огненные потехи» не вызывают у нас ничего, кроме снисходительных улыбок...

Мы мыслим о будущем... рассуждаем о наших возможностях... сопоставляем сделанное с тем, что еще предстоит совершить... вспоминаем прошедшее... И пускай наши праотцы не упрекают нас в предосудительной сухости: мы веселимся! Ведь новогодняя ночь является своеобразным рубежом, и мы от него не отступаем, а, наоборот, собираемся его форсировать. Кто же станет утверждать, что это скучная работа?!

Минувшие годы были беспокойными. По милости некоторых воинственных мальбруков советские люди, как и все простые люди земного шара, иногда просыпались по ночам от тревожного беспокойства за судьбу человечества... Но наступало утро (его приход всегда связан с появлением надежд и уверенности), рабочие отправлялись к своим станкам, колхозники к своим пашням... И, мельком вспоминая тревожное чувство, посетившее их в ночной темноте, они принимались за работу еще упорнее, и в этом заключался их практический ответ тем, кто с таким непонятным упорством тревожит их сон на протяжении целых десятилетий.

Надо сказать, что, как бы в силу физического закона, вследствие которого всякое действие вызывает противодействие, трудовые люди нашей страны всегда работали с особым рвением и страстью, когда покой на земле нарушался и человечество оказывалось в опасности. За примерами далеко ходить не приходится. Вспомнить хотя бы годы Великой Отечественной войны. Как бы делая назло врагам, наш народ удваивал и утраивал свое трудовое упорство и, несмотря на огромные трудности и потери, всегда выходил победителем, становясь надежной поддержкой тех, кому дорога правда на земле. Странно, что наши недоброжелате-

ли до сих пор еще этого не усвоили. Им следовало бы давно понять, что в общем они только то и делали, что добивались нежелательных для себя результатов...

Когда думаешь о нынешнем положении нашей страны, всегда невольно вспоминается давнишняя встреча Владимира Ленина с Гербертом Уэллсом. Нет никакого смысла пересказывать всем известный разговор двух людей, который состоялся сорок лет тому назад и, надеюсь, теперь уже известен каждому. И вспомнил-то я об этой встрече не для того, чтобы еще раз упрекнуть одного из крупнейших фантастов своего времени в неадекватности или даже в отсутствии фантазии: воображение и не могло заменить Уэллсу точного знания и научного расчета, непревзойденным мастером которого был Ленин. Ведь кроме понимания социальных процессов, кроме невиданной способности рассчитать предстоящие события с точностью до одного дня, Ленин знал еще кое-что (оно было тайной для замечательного писателя) — он знал наши народы. В результате план ГОЭЛРО, над которым с чисто поэтическим легкомыслием посмеивался знаменитый романист, оказался не только принципиально выполнен, но в наши дни уже перевыполнен в двадцать четыре раза. Может показаться, что в течение минувшего сорокалетия советские люди только то и делали, что почти каждые полтора года посмеивались над Гербертом Уэллсом, в очередной раз перевыполняя план ГОЭЛРО...

Можно не сомневаться, что этот наш успех не был бы для Ленина неожиданностью. Его представление о будущей России всегда было связано с электрификацией. А зная, каким убежденным человеком он был, можно сказать наверняка, что в наше двадцатичетырехкратное перевыполнение он верил.

Многим из нас нередко приходится разговаривать с людьми за рубежом или встречаться с иностранными гостями дома. До запуска советских спутников интересующиеся нашими делами, как правило, разделялись на две категории: первая удивлялась, вторая не верила. С теми, кто удивлялся, было легко иметь дело: при соприкосновении с фактами они начинали понимающе улыбаться. С недоверчивыми бывало тяжелее. Читая наши сводки, они неизменно обзывали их пропагандой, а приехав в колхоз, подозревали, что их привезли в заранее подготовленное для показа место и, конечно же, не иначе, как с пропагандистской целью. Я иногда жалел этих людей: если они были субъективно честны, то странная подозрительность лишала их удовольствия видеть истинное положение вещей. ...Иногда так и подмывало им сказать: да снимите же свои темные очки и взгляните на действительность открытыми глазами! Положение отнюдь не таково, каким оно вам кажется или каким вам его хотелось бы видеть. Наша страна шла и продолжает идти семимильными шагами и пусть это вас не удивляет — ведь иначе она не могла бы существовать в современном мире и давно стала бы добычей мировых хищников!

Надо, однако, отметить, что после того, как в космос взлетели наши спутники, недоверчивых стало значительно меньше. Жизнь заставила их образумиться. Ведь факты оказались настолько убедительны и их было так много, что от них могла разливаться желчь, но спорить с ними или подвергать их сомнению отваживались только кретины или слепцы.

Не поэтому ли наш семилетний план, план нового гигантского скачка всей советской экономики и культуры, встречен в среде наших врагов уже не саркасти-

ческими улыбочками недоверия, а волчьим оскалом бешенства? Страх и озлобление врага — это, конечно, высшая оценка! Они означают, что количество наших недругов, понявших неминуемость крушения их сгнившего капиталистического строя, сильно увеличилось. А потеря надежды, как известно, нередко вызывает гнев. Но гнев этот, как правило, уже бессилён...

У наиболее умных и практичных представителей капиталистического мира наши успехи вызывают, однако, иную реакцию. Они видели, как советская действительность высмеяла тех, кто подвергал ее сомнению; они знают, что и слепое озлобление, вызванное нашими успехами, потерпит крах.

Во время пребывания в Москве Сайруса Итона «Правда» опубликовала в своей передовой статье любопытные сопоставления, касающиеся роста некоторых областей нашей промышленности. Так, например, за первые шесть месяцев 1958 года в Советском Союзе было выработано электроэнергии больше, чем за весь 1951 год, тракторов — почти столько же, сколько в 1953, а природного газа добыто больше, чем в 1956. Воображаю, сколько яда и желчи пролили некоторые наши недруги. Но Сайрус Итон злиться не стал. Что он весьма далек от нас по своим убеждениям, это всем известно. Думаю, что вряд ли кому-нибудь придет в голову и то, что в СССР его распропагандировали. Однако в своем парижском интервью этот крупнейший миллионер и промышленник, который, как он сам утверждает, видел у нас все, что ему хотелось видеть, призывал к благоразумию некоторых своих ослепленных соотечественников именно потому, что сумел не только увидеть, но сумел и понять. Он воочию убедился в том, что советская страна развивается с удивительной быст-

ротой и стала могущественной индустриальной державой именно потому, что она желает мира для всех. А ведь он-то знает, что одного желания в наше время недостаточно и что без надежного материального фундамента рухнуло бы даже самое идеальное здание, с какой бы страстью и убежденностью его ни возводили.

Факты таковы, что теперь уже даже человеку иного мира не нужно обладать особой проницательностью, чтобы предвидеть дальнейший ход нашего развития. Вот почему Сайрус Итон призывает к миру тех, кому мир не по душе. Он просто реалист и деловой человек и, как таковой, не может не считаться с фактами.

Мы нередко совершаем бестактность, изображая, согласно установившейся традиции, каждый минувший год в виде седовласого деда-мороза, который сделал свое дело и может спокойно уйти в область небытия и забвения. Нет, по крайней мере со стороны советских людей минувший год не заслуживает подобного отношения! Он был тревожен, но ведь именно он принес нам такой щедрый урожай на всем необъятном пространстве наших пятнадцати братских республик! 1958 год взметнул к звездам полуторатонный спутник Земли, явственно приблизив день, когда устремится в космос и человек, охваченный жаждой познания и преодолевающий все препятствия на пути к полному покорению планет и созвездий. Ведь это он убедил мир в реальности открытых нами неслыханных мощностей и энергий, способных преодолевать любые пространства, уплотняя до предела привычные представления о времени и расстояниях. Ведь это он принес нам великий семилетний план, который стал программой всей нашей жизни на ближайшие годы, содержанием наших помыслов и трудов.



Будущее ясно, хотя порой оно еще и бывает слегка омрачено.

Прошлым летом я встретился на колхозном поле с незнакомым стариком. Глядя на бескрайний пшеничный массив, суливший необыкновенный урожай 1958 года, он с тревогой произнес:

— Словно в сорок первом... Урожай, как перед войной...

Его тревога могла показаться проявлением суеверия. Но чувствовалось и неподдельное беспокойство, к сожалению, не лишенное основания. Мир находился в опасности. Думается, что он висел на волоске. Тот, кто преуменьшал опасность, в лучшем случае обманывал себя; в худшем — обманывал народы. Да, суеверному человеку такой урожай действительно мог не понравиться!

Но 1958 год ничем не напоминал 1941 — это он доказал сам. В результате предшествовавших лет, полных героических усилий сохранить мир на земле, он оказался способным произнести свое решительное и отрезвляющее «нет» тем, кому мир не по вкусу. И то, что было бы невозможно в былые времена, в 1958 году оказалось не только возможным, но и неизбежным.

Мы глубоко уверены в том, что прошлому нет возврата. Злые духи еще не умерщвлены, но они уже связаны по рукам и лишены свободы действий. Они уже никогда не смогут навязать людям своей злой воли — отныне человечество не беспомощно! Мир способен себя отстоять, ибо предстает уже перед ликом своих врагов, как воплощение миллионов, готовых к защите своего светлого будущего.



## *Киев, май*

**В** Киеве теперь весна. Она пришла поздно, зато началась дружно. На каштанах появились одновременно свечи цветения и молодые клейкие листья. В один день окраины зацвели садами, и если поглядеть с высоты десятого этажа на величественную панораму, то может показаться, что город окружил себя белым венком из майских цветов.

Кйев одинаково дорог и украинцу и русскому. Он как бы олицетворяет их многовековую дружбу. А что может быть светлее и чище дружбы! Она объединяет людей, дедает их отношения братскими и наполняет сердца чувством бескорыстной преданности.

Триста с лишним лет тому назад в Переяславе был подписан знаменитый акт дружбы между двумя великими народами. Но братство этих двух народов-соседей не ограничивается тремя столетиями. Истоками своими уходит оно в глубь далеких веков. Оно было не только потребностью людей, у которых близок язык, схожи обычаи, быт. Историческая необходимость связывала украинцев с русскими, а также с белорусами крепче любого кровного родства.

Немало важных причин способствовало тому, чтобы трудовой украинец всей душой стремился в объятия русского человека еще в глубокую старину. Разве не в курянах, не в донцах видел он спасителей, когда татарские нашествия сжигали его хату? Разве не в русских людях видел он единственных друзей, когда польская шляхта угрожала его жене и детям? Он бежал от смерти к русским и знал, что они его примут как брата.

Народы подали друг другу руку задолго до того, как это сделали цари. Жизнь простых людей в конце концов определила содержание гетманских грамот. И слава тем из гетманов и государей, которые поняли чаяния миллионов и встали на путь этого вечного и нерушимого союза. Время показало, насколько дальновидными были они и какие огромные плоды принесло единение.

Улицы каждого города подобны страницам летописи: на них записана история народа. Если даже город молод, все равно его дома и мостовые могут рассказать о многом. Ведь даже короткая история самых молодых советских городов — Челябинска или Комсомольска — вместила в себе немало поразительных событий!

Что же говорить о Киеве, по улицам которого ступал конь Ярослава Мудрого и рысак Николая Щорса, в ворота которого врывались орды древних татар и полчища ошалелых молодчиков Гудериана и Мантейфеля. Этот город видел, как, бросая награбленное, убегали из его пределов татары и шляхтичи. Он видел также, как сломя голову бежали из него гунны двадцатого века, чтобы уже никогда больше не вернуться сюда.

По этим улицам и переулкам бесконечной чередой проходили столетия. В Софиевском соборе поднялся пол больше чем на метр: это пыль, которую нанесли века. Когда на улицах еще попадались послевоенные руины, можно было найти среди них кусочек кирпича или обломок древней майолики, перед которыми веком овладевал благоговейный трепет. Эти обломки были свидетелями такой древности и таких событий, описания которых подчас не отыщешь даже на страницах истлевших от времени фолиантов.

Сколько раз дикири и варвары сжигали этот город дотла! В течение последнего тысячелетия Киев отстраивался заново много десятков раз, становясь все краше и величественнее. И странно — в беде люди не покидали родного пожарища, а снова брались за топор и кирку. Они любили эти высокие холмы над рекой, заросшие вековым дубом и стройным тополем.

Что-то притягательное было для них в поразительной красоте заднепровского пейзажа. Ведь сколько было в древней Руси городов, которые остались горой развалин после опустошительного нашествия. Их прах стал достоянием археологов, по этому праху теперь разгадывают тайны далекого прошлого. Но Киев был, есть и будет среди тех городов, которые остаются местом строителей и поэтов,— он всегда был весь в будущем. Он с гордостью и сегодня вспоминает вчерашний день, но одной ногой всегда стоит на пороге завтрашнего.

Есть среди гостей столицы Украины немало таких, которые приехали сюда впервые. Их восторг понятен: Киев очень красив, особенно в мае. Но, конечно же, с первого взгляда человек не может оценить всего, что сделали советские люди для своего родного города. Гости смотрят на огромные ансамбли Крещатика, решенные необычно, они видят много прилегающих улиц, выстроенных совершенно заново... Иные спорят об архитектуре того или иного здания, дискутируют о том, как выглядит керамическая плитка в качестве облицовочного материала больших фасадов...

Но только человек, который видел эти улицы и площади в развалинах, может полностью оценить огромность созданного. То, чем восхищаются сегодня гости, то, о форме чего спорят и дискутируют, создано в течение нескольких лет на таких страшных руинах, для одной только расчистки которых, казалось, не хватит десятилетий. Достаточно назвать страшную цифру: в Киеве было сожжено и разрушено больше двадцати пяти процентов всего жилого фонда — четверть города. А ведь он и до войны был миллионным.

На разборке развалин работали десятки тысяч

добровольцев — служащих, домохозяек, школьников. Это были поистине всенародные субботники. И сегодня, проходя вдоль новых улиц, каждый киевлянин вправе сказать: в основаниях этих прекрасных зданий лежит капля и моего труда.

Есть одна прекрасная черта в характере этого города: он врос в природу. Обычно город вытесняет ее или по крайней мере подчиняет себе, доминирует над ней. В Киеве создается впечатление, что сады и парки не отступили перед каменными громадами, а только расступились, чтобы дать им место. И действительно, ботанический сад, находящийся в самом центре города, целый ряд больших парков и садов, разбросанных повсюду, — они не кажутся зелеными островками в море раскаленного гранита и кирпича. Они не похожи на искусственно созданные убежища в пору знойного лета. Это органический фон города, естественная часть его архитектурного ансамбля. Без вековых каштанов, кленов и дубов, без тополевых аллей и парков Киев так же немыслим, как Ленинград без Невы. И не легко сказать, что здесь главное и что появилось раньше: город в саду или сад в городе.

Можно многое сказать о величии и красоте Киева, о его прошлом, настоящем и будущем. Еще больше можно сказать о людях, строящих и воспевающих его. Они изменили не только внешность улиц и площадей: они подняли общий тонус жизни украинской столицы, они изменили облик города. Вместо десятков монастырей в городе создано свыше пятидесяти научно-исследовательских институтов, сотни средних школ, десятки вузов и техникумов. Вместо мрачной толпы богомольцев в Киев потянулась стотысячная армия молодежи, которая хочет знать, изучать, исследовать. Из



города кустарных мастерских Киев стал городом металлостроителей, станкостроителей, корабельщиков и транспортников. То, что в начале века город производил за год, теперь производится в один день. В этом смысле столица прекрасно отражает характер всей советской Украины, которая выплавляет чугуна и стали больше, чем Франция, Бельгия и Испания, взятые вместе. Навсегда ушла из сознания советского человека: так называемая «романтика соломенной стрехи» — эта убогая романтика нищеты. Ее заменил пафос высококачественной марочной стали и первосортного колхозного зерна, добытого и выращенного на украинской советской земле, пафос мощи и богатства советского человека.

Каждый, кто побывал в последнее время в Париже, Вене или Лондоне, невольно удивляется, как быстро Киев освободился от следов войны. В Лондоне или Вене до сих пор еще возвышаются на улицах горы развалин. Они аккуратно огорожены и может показаться, что кто-то вздумал сохранить их, как напоминание о недавнем прошлом.

Но не в этом дело! Правительства западных стран, готовые новую мировую войну, вовсе не заинтересованы в том, чтобы перед глазами их завтрашних солдат все время находилось пугающее напоминание о войне вчерашней. Они бы с удовольствием убрали эти страшные развалины, если бы могли это сделать. Но Лондону неоткуда ждать помощи, которую в трудные годы получал Киев. Лондон одинок. Разве можно себе представить, чтобы Америка решила подарить ему огромный дворец науки, подобный тому, какой выстроили советские люди в дар разрушенной Варшаве? Циничные и жестокие «друзья» из-за океана пред-

почитают оказывать «помощь» пушками и танками, но отнюдь не дворцами науки.

И тут невольно вспоминаются десятки и сотни эшелонов, пришедших в Киев со всех сторон нашей необъятной многонациональной Родины. На платформах стояли тракторы, автомобили, краны, экскаваторы. Вагоны были нагружены цементом, лесом, кирпичом. На западе еще гремели орудия, а на пришедших в Киев паровозах была надпись: «Сибирь—Украине», или «Ташкент—Киеву». Каждая советская республика старалась внести свой вклад в отстройку израненной столицы Советской Украины.

В те трудные годы киевляне особенно остро чувствовали, что они не одиноки. Братская поддержка всех советских народов рождала не только чувство трогательной благодарности, но и великий трудовой энтузиазм. Вот почему Киев залечил свои боевые раны значительно быстрее, чем Вена, Париж или Лондон, хотя раны были значительно глубже.

В белые стены нового Киева заложен новороссийский цемент и ленинградская сталь, их цоколи облицованы армянским мрамором и уральским гранитом. Вот почему, гуляя по новым светлым улицам, не перестаешь думать о благородной силе и великих возможностях, которые открыла наша дружба. Если наши дети учатся в новом дворце Московского университета на Ленинских горах, то это дала нам она; если во время отпуска мы едем на грузинский курорт по путевке, полученной в заводском комитете, то и это благодаря нашей великой дружбе. Нас никто не заставит работать по шестнадцать часов в сутки среди заводской копоти, как это принято для негров в Америке. Нас никогда не выбросят на улицу и не лишат права

трудиться, как это бывает в Париже, Лондоне или Тегеране. Нас не оставят без помощи, если заболела жена или мать, как это случается с трудовым человеком любой капиталистической страны. На страже нашей жизни — советская власть, которая сильна потому, что объединила народы. Она вычеркнула из сознания человека страх за завтрашний день, и недаром все трудовое человечество смотрит на нее как на великий исторический пример, достойный всемирного подражания.



### *Мысли о нашей армии*

**Н**едавно, во время приема, устроенного Союзом писателей Украины в честь одного из наших зарубежных друзей, который много переводил на свой язык украинских поэтов, мне припомнились слова, сказанные как-то Павлом Антокольским: переводчик является своеобразным офицером связи между двумя культурами. Но, когда я предложил поднять

бокалы за этих воинов культурного сближения, наш уважаемый гость довольно энергично запротестовал:

— Не люблю офицеров. Я против войны.

Этот человек обладал острым воображением художника, и трудно было допустить, что он не понял иносказания. Нет, ему просто не нравились офицеры в буквальном смысле слова — люди в военных мундирах, из числа которых, как я понял, он не исключал и офицеров Советской Армии.

Выяснилось, однако, что почти все присутствующие украинские поэты, будучи, как и он, убежденными противниками войны, являются одновременно и офицерами запаса. Услыхав об этом, наш гость смутился,— видимо, он решил, что позволил себе бестактность по отношению к своим хозяевам. Но мне показалось, что бестактность допущена к чему-то значительно большему и неизмеримо более важному...

Да, почти все присутствующие оказались бывшими офицерами... Но затронуло нас не пренебрежительное отношение к нашему бывшему званию, а затянувшееся нежелание понять, что со времени основания Советской Армии на земле появился совершенно новый тип военного человека, не имеющего ничего сходного с общепринятыми представлениями о военных. В данном случае это особенно поражало: ведь нашему гостю, хлебнувшему горькой похлебки фашистских концлагерей, следовало бы не походить на иных европейских интеллигентов и, как говорится, с первого взгляда отличать мундир своих освободителей!

Говоря о некоторых представителях европейской интеллигенции, я имею в виду главным образом тех, кто на протяжении десятилетий упорно обзывает «пропагандой» всякое стремление или попытку объяснить-

ся. В своем упорном нежелании судить объективно они отвергают даже таких честных и общепризнанных свидетелей, как, например, Джон Рид, и многих других, совершенно точно определивших местонахождение истины еще в момент ее рождения. Вспомнить о них заставляет меня отнюдь не желание во что бы то ни стало кого-то упрекнуть: я знаю, что понять всегда было значительно труднее, нежели следовать закоренелой традиции.

Советская власть родилась без помощи штыков. Ее армия, как организованная военная сила, начала складываться лишь через четыре месяца после захвата власти трудящимися. Она понадобилась только тогда, когда возникла необходимость защищать завоевания народа. Советский воин появился на революционной арене лишь в момент, когда кое-кто решился опротестовать при помощи силы результаты всенародного «опроса», о котором так хорошо сказал Н. С. Хрущев.

Еще находясь в подполье, коммунисты сформулировали главный вопрос, который должны были поставить народам бывшей Российской империи: чего желают они для своей страны? Выйдя в решающий момент на площади городов и сел, они поставили этот вопрос перед народом. И простые люди — именно безоружные простые люди — ответили решительно и проголосовали единодушно. Они заявили о своем непоколебимом желании стать истинными хозяевами своей великой страны. И когда враги революции, а также иноземные реакционеры попытались воспрепятствовать их решению, народ вынужден был взяться за оружие, чтобы защитить свое право хозяина собственной страны.



Никогда еще армии не рождались таким образом. На протяжении всей истории человечества они возникали лишь как наемная сила богатых и сильных и всегда оставались только бичом в руках угнетателей. Смешно было требовать от слепого орудия справедливости и человеколюбия. Неудивительно, что у всякого честного человека такая армия всегда вызывала лишь страх и отвращение.

Но сила, находящаяся в руках у народов, не бывает и не может быть слепым орудием, ибо является силой миллионов, а миллионы всегда правы.

В эти дни я работаю над биографией Матэ Залки. Как и Джон Рид, этот человек сумел сразу определить, на чьей стороне правда. В дни великого Октября он находился в одном из сибирских лагерей для военнопленных и вопрос, с которым обратились коммунисты к народам России, касался его лишь косвенно: ведь он оставался иностранцем и мог спокойно стоять в стороне.

Но он выбрал. Вряд ли есть необходимость говорить о его выборе более подробно: судьба этого человека известна теперь широко. С тех пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было сказать свое слово в ожесточенном историческом споре о правде и судьбе трудовых людей.

Этот человек необыкновенно быстро проделал путь от Франца-Иосифа до Ленина. «Возможно ли это? — спросят те, кто сомневается во всем и ныне. — Ведь процесс накопления фактов для столь важного решения никогда не происходит в один день!»

Надо признать, что в этом смысле Матэ Залка находился как бы в привилегированном положении: он собирал факты о русской революции не на страницах

европейских газет, как это делали другие, а на улицах и площадях, где происходила революция. А там дело выглядело настолько ясно, что сделать выбор и найти свое место в борьбе оказалось куда легче, чем может показаться. Ведь соприкосновение с живой действительностью всегда способствует скорости и правильности решений!

Он видел собственными глазами, как всколыхнулись темные и полуголодные миллионы, не захотевшие более оставаться ни темными, ни голодными. Перед его взором распахнулись железные ворота огромной темницы, в которой томились светлые умы и великие гении только потому, что само их существование было несовместимо с угнетением и темнотой... Он без конца смотрел на вдохновенные лица, просветленные надеждой и пробудившимся чувством собственного достоинства — счастливые лица людей, на стороне которых было историческое право и справедливость... Мог ли он не пожелать им добра от всей души, мог ли не подумать при этом и о судьбах всего трудового человечества? И мог ли он позже, когда Вильсон, Черчилль и Пуанкаре решили силой остановить это великое пробуждение миллионов, не взять в руки винтовки, чтобы защищать тех, кто был, по его мнению, прав?

Но если иначе поступить не сумел даже он, случайно оказавшийся при этом иностранец, то мог ли отказаться от вооруженной самозащиты сам пробудившийся народ? Так определился характер Советской армии: из всех возможных завоевательных целей она избрала одну — завоевание свободы собственному народу.

Не странно ли, если еще и теперь находятся люди, которые говорят о Советской армии, как об армии вообще, игнорируя ее гуманистические принципы или

просто не понимая их? Ведь человечество уже имело столько случаев убедиться, что на протяжении последних сорока лет у советских народов ни на один миг не исчезала печальная необходимость защищаться — та самая необходимость, которая заставила их взяться за оружие и после исторического Октября. Шли годы, вооруженный народ последовательно разбивал каждую новую лавину, подымавшуюся против его свободы. С тупым упорством катились эти лавины интервентов к нашим пределам одна за другой, встречая год от года лишь растущее противодействие... Ни один серьезный исследователь, который захочет объективно и честно разобраться в обстоятельствах любого конфликта, возникшего на протяжении сорока лет, не сможет упрекнуть нашу армию в отказе от ее основного принципа: защищать свободу и независимость своих народов. Конечно, нетрудно европейским циникам подвывать в иступленном хоре по поводу, скажем, пресловутого «вмешательства в венгерские дела»... Но никто из них не в состоянии убедить советские народы в том, что им следует отказаться от своего интернационального долга перед странами социализма, что появление фашистских изуверов не является для Венгрии величайшей опасностью. Что ж, их дело — выть, а наше — стоять на страже мира.

Особенно странно звучит подобный вой в устах людей, которые еще так недавно признавали перед всем миром освободительную роль советских войск. Правда, тогда смертельная угроза фашизма висела над их собственными странами. Но ведь это был тот же фашизм — невинных людей он вешал таким же способом! Однако иные политики часто меняют свои убеждения, и это считается как бы почти нормальным... И все же

истину не может изменить ничто, даже непостоянство некоторых политиков.

Да, в былые годы, когда под угрозами врагов Советская армия вынуждена была превратиться в непобедимую силу, помощь ее нужна была многим! Прибегали к ней даже те, кто привык осыпать ее клеветой и неблагодарными нападками. Как же было не прибегнуть к ее помощи и венграм, боровшимся за свою свободу? И разве виновна в этом Советская армия, а не те, кто хотел Венгрию поработить?

Говорят, что лучшими свидетелями признаются всегда незаинтересованные лица. Но совершенно неотразимыми следует считать свидетельства людей, которые как будто не прочь бы и обвинять, а все-таки защищают. Из недавно изданных в СССР писем Черчилля и Трумена, относящихся ко времени второй мировой войны, можно было бы сделать множество извлечений, в которых каждое слово звучит благодарностью и признанием освободительной миссии советских войск. Правда, эти признания были также сделаны тогда, когда немецкий фашизм навис и над Англией, и над Америкой; когда эта чума угрожала всей человеческой культуре тотальным уничтожением; когда Советская армия была единственной реальной силой во всем мире, способной уничтожить угрозу и спасти европейскую цивилизацию... Их признания и оценки остаются в силе и теперь и будут еще долго служить неопровержимым свидетельством и против будущих скептиков, которые, несомненно, придут на смену нынешним клеветникам.

Если человеку стукнет сорок, о нем говорят, что он «в соку». Это значит, что он вступил в пору всестороннего расцвета: на него можно положиться. Такая ана-

логия, пожалуй, наивна, если говорить о сорокалетию великой армии, и все-таки она не искажает действительного положения. Советский народ хорошо знает, что может положиться на свою Армию: ведь даже в молодости она ни разу не подводила его, оставаясь во всех случаях не только защитником границ, но и хранителем нравственных устремлений народа.

Поэтому-то советские люди так любят свою армию. Если приходит время молодому человеку идти на действительную службу, то его провожают без слез: мать знает, что ее сын не научится ничему плохому и, став солдатом, не совершит несправедливости. Его не пошлют на Кипр — не принудят подымать руку на беззащитных и невинных! Наоборот: если сын не имеет специальности, то в мирное время он ее приобретет, а наступит война — будет воевать лишь за правое дело.

Если кто-нибудь из зарубежных читателей заподозрит меня в стремлении нарисовать идиллическую картинку, пусть вспомнит о восьмидесяти семи молодых французах, отказавшихся воевать в Алжире потому, что чувство справедливости в них сильнее страха за собственную судьбу. И пускай он заглянет в любую деревушку на нашей необъятной земле, где новобранцев провожают с музыкой и танцами... Может быть, простое сопоставление столь различных обстоятельств заставит задуматься и вникнуть более глубоко в суть вопроса. Мне жаль, что у нас не было возможности прокатить нашего иностранного гостя в какую-нибудь деревушку, чтобы показать это и ему: ныне молодежь уходит в армию не часто, ведь мы живем в эпоху сокращения, а не увеличения советских войск.

Недавно я увидел на улице новый американский автомобиль. Около него толпилось много любителей и,

кажется, все сходились на одном: хорошая машина! Я думаю, что точно такие же слова вырываются из уст многих американцев, когда они думают о новых советских машинах — о наших знаменитых ракетах. Однако, рассматривая шикарный лимузин, я подумал, что свои оценки мы произносим, видимо, с различными интонациями, и если к нашему восхищению примешивается крупница добродушной зависти, то их сердца посещает в этот момент более тревожное чувство...

Но кто же в этом виноват?

Нам не давали возможности сосредоточить все свои усилия на производстве автомобилей и прочих удобных вещей, тревожили и угрожали, заставляя постоянно совершенствовать средства защиты своих матерей, жен и детей. Удивительно ли, если в этой области мы достигли некоторых результатов?

Но, может быть, опыт минувших десятилетий заставит кое-кого понять, что действие способно вызывать лишь противодействие.

Ведь история может научить, если хочешь и умеешь учиться!



## *У нас на Днепре*

**П**ередо мною лежат чудом сохранившиеся пять листков боевого донесения времен Отечественной войны. Оно напечатано на характерной штабной машинке со скачущими и выпадающими буквами. Писарь сэкономил бумагу: время было трудное — конец 1943 года, приходилось печатать через один интервал с обеих сторон листа.

Стиль этого документа предельно лаконичен: «Майор Бубенцов. Запорожье. 6-й поселок. 21 декабря 1943 года. Начальнику штаба инженерных войск 6-й армии. Отчет о произведенной работе по разведке плотины Днепрогэс с 2 ноября по 20 декабря 1943 г.»

Содержание этих страниц не только может, но и должно было бы стать основой для огромного, захватывающего романа. Войска 6-й армии занимают левый берег Днепра у самой плотины. Фашисты — на правом берегу. Фронт наших войск оцепенел, боясь двинуться вперед, ибо это может заставить врага немедленно взорвать плотину. Но Днепрогэс, и даже то, что осталось от него после многомесячного разрушительного урагана, является святыней для нашего народа и его армии. Нацисты понимают это, они убеждены, что Днепрогэсом мы не рискуем и, следовательно, наступать не посмеем. Поэтому ниже плотины, в густых комариных плавнях, они преспокойно сидят в своих теплых норах, хотя на севере их разбитые дивизии откатились уже почти до границ Польши.

Удивительно устроена человеческая память! Проходят годы, и из нее выветривается все тягостное и горькое. Как бы сознательно отсеивает она с годами мучительные кошмары реальности — остается только общий образ великого события. И в воспоминании о войне постепенно блекнут картины грязи, пота, крови, боли, смертельного утомления — в сознании остается лишь почти отвлеченная картина всенародного эпического подвига.

Но сейчас, при взгляде на полуистлевшие от времени страницы боевого донесения, я снова вижу непроходимые, полузамерзшие болота, грязь и слякоть раз-



вороченного торфяника, в котором вязли трактора и тонули наши солдаты... Я вижу на лицах людей отражение сложных и глубоких чувств, вызванных драматизмом и безысходностью положения... Так хотелось немедленно рвануться вперед из этой пронизывающей сырости! Для этого хватало сил — армия стояла уже на пороге 1944 года. Можно было довольно легко выбить противника из его прокуренных блиндажей и выйти на сухие и солнечные просторы правобережья... Но переходить через Днепр нельзя: удерживал страх за судьбу Днепрогэса и его великой плотины.

Поведение фашистов в течение этих долгих месяцев являлось гигантским стратегическим шантажом. Они парализовали рвущиеся вперед наши дивизии не силой оружия, а при помощи неслыханной спекуляции на священных чувствах советского народа и его армии. Невольно вспоминается подлая система заложников, повсеместно применявшаяся фашистами в те времена. Если они хотели заставить парижских патриотов выдать руководителя, то брали каждого пятого и ставили к стенке; если нужно было заполучить неуловимого партизана на Украине, угрожали сжечь дотла всю деревню вместе с женщинами, стариками и детьми... Здесь они применили то же средство, но теперь их заложником были не люди, а Днепровская гидроэлектростанция.

Враги плохо знали наш народ. Они разбрасывали листовки: «Иван, сдавайся, у нас есть шоколад». Они представляли себе советского человека таким же примитивным, какими были сами. За это им пришлось как следует заплатить впоследствии! Гитлеровцы понимали, что, угрожая расстрелять ребенка, они, ко-

нечно, могут удержатъ любящего отца от резкого движения. Но, бездушным отроду, где им было понять, что кроме героизма действия существует еще и героизм духа, который способен спасти жертву, выбив оружие из рук палача почти чудодейственным образом. Не поэтому ли они так часто оказывались перед разбитым корытом, когда, придя к арестантской яме, чтобы умертвить заложников, обнаруживали, что стража перерезана, а заложников и след простыл! Так случилось и здесь; советские армии вдруг перешли в решительное наступление, а когда фриц включил рубильник, чтобы взорвать плотину, взрыв не прогремел.

В донесении майора Бубенцова кратко и выразительно описаны удивительные события, происходившие под носом у противника, который преспокойно пил шнапс и жрал награбленные «яйки», будучи уверен в своей полной неуязвимости. Перед командами 269 АСБ, 19 ГМЗБ и 4 ПМБ (легкие и тяжелые водолазы) стояла одна задача: обнаружить провода, ведущие к минам, заложенным гитлеровцами в тело плотины, и перерезать их. Что мины заложены, было ясно; на это указывало поведение немецкого командования, это подтверждали и рабочие ГЭС, оказавшиеся на левом берегу, когда его заняли наши войска. Электросварщик К. М. Безручко, например, спрятавшись в люке 4-й турбины, видел, как еще 9 октября фашисты укладывали тяжелые авиабомбы в тело плотины, как тянули они бронированный кабель из машинного зала в потерну по служебному мосту. Подтверждал это и Виктор Дерюгин, наблюдавший в сентябре, как немцы подвезли 12 вагонов взрывчатки, а слесарей Льва Бородавку и Михайла Андриенка за-

ставили откачивать воду из шахт, приготовленных для огромных минных зарядов.

Бойцы майора Бубенцова понимали обстановку. Беда заключалась только в том, что потеряна, где мог проходить провод, была затоплена, а путь через плотину, по которой можно было добраться до вводного отверстия, находился под постоянным наблюдением и обстрелом с острова Хортицы. Искать приходилось или под ледяной водой, или ночью, в полной темноте,— во всех случаях совершенно тайно от противника, у которого рубильник всегда находился в руках и который, конечно, включил бы его, если бы заметил малейшее движение со стороны бойцов Бубенцова.

Я не стану описывать этой удивительной эпопеи. Гвардейцы — младший лейтенант Курузов, сержант Ямалов, рядовые Шабанов и Стародубов совершили головокружительное путешествие на шестидесятиметровой высоте по всей гребенке Днепровской плотины. На каждый бычок надо было взбираться по голой двадцатиметровой стене: мостов, конечно, никаких не осталось. В это время легкие водолазы — гвардии рядовой Курганов и гвардии сержант Котельников,— расчищая проходы в плавающем хламе, медленно продвигались по затопленной верхней потерне. Нижней, находящейся еще глубже под волнами Днепра, с трудом овладевали водолазы — гвардии ефрейтор Кильдеев и гвардии рядовой Ариков. Они поминутно теряли сознание, так как воздушные шланги путались и доступ кислорода прекращался. Под водой происходили настоящие драмы, полные истинного героизма и самоотверженности. Но провод все же был перерезан под самым носом у врага.

Я вспоминаю сейчас худенькую светловолосую девушку Женю Романько и ее девичью бригаду бетонщиц. В памяти живут вдохновенные картины трудовых штурмов, лица, озаренные сознанием величия своего времени, песни, полные гордости и юного задора. Эти люди читали: «Днепрогэс строит вся страна», и им было ясно, что они и есть те счастливые избранники, которым доверено великое дело от имени всей страны. Позже народ украсил грудь каждого из них краснорозовым золотом — это была наивысшая благодарность за оправданное доверие.

Я хожу сегодня по этой прекрасной радуге из бетона, впервые обуздавшей Днепр двадцать пять лет тому назад, и вспоминаю людей, сотворивших это первое чудо. Прошли года, наступила жестокая пора смерти и разрушения, и появились новые люди, в сердцах которых горел тот же огонь и то же святое озарение... Не жалея не только труда, но и самих своих молодых жизней, они совершили второе чудо и спасли индустриального первенца советской страны. Они сделали свое дело как бы между прочим: мало ли приходилось им за время войны рисковать жизнью во имя Родины!.. Они сделали свое дело и ушли вперед — их ждала еще длинная и тяжелая дорога... И их имена остались только в этом пожелтевшем боевом донесении. Никто не знает людей, которые спасли плотину. Мало ли есть на Руси Курузовых и Ямаловых, Стародубовых и Шабановых! И, когда окончилась война и нужно было поставить на Днепрогэсе памятник или мраморную доску, то оказались неизвестными даже имена славных спасителей плотины. Они ушли, исполнив свой долг и не потребовав за это никакой благодарности.

И невольно хочется крикнуть: отзовитесь; боевые друзья! Дайте о себе знать, если вы живы. Мы хотим, чтобы Родина знала о вашем подвиге,—теперь это зависит только от вас!

Бетонщица Женя Романько и неизвестный солдат Ямалов... Я беру из длинного списка героев только первые имена... Люди двух разных эпох в истории нашего Отечества, они как бы символизируют непрерывность любви нашего народа к Днепровному первенцу. «Любви...» Это слово может показаться странным в применении к железобетонной громаде. Не лучше ли здесь говорить о сознательном расчете, о практической пользе, о материальной заинтересованности? Но нет, я говорю о любви, так как в основание Днепровской плотины были заложены не только бетон и железо, но и глубокие, искренние и всенародные чувства.

Можно не сомневаться, когда Ленин рассматривал проект электростанции на Днестре, созданный профессором Александровым, он думал не только об индустриальном перевороте в экономике Украины. Он, конечно, представлял себе и ту решительную перемену в сознании и чувствах людей, которая будет вызвана вмешательством человека в извечное течение реки, связанной со всем обликом, с думами и песнями украинского народа. Для украинца Днепр никогда не был просто рекой: с ним связаны образы минувшей истории, полные героизма и величия. И когда над его безмолвными просторами впервые грянул динамит и аммонит, когда оглушительный грохот неслыханных строительных взрывов покатился по гранитным островам и беспредельной степи, это означало, что наступает новая эра и в умственной жизни народа, и в его представлениях о жизни вообще.

Все мы были свидетелями того, как, входя в повседневный обиход, машина меняла сознание человека. Он был робок и слаб — сказывалась извечная привычка выпрашивать, а не отнимать у природы. Но, вооружаясь механизмами, человек постепенно обретал дар командира и способность повелевать. Голос его мужал, движения становились уверенными и вместо просьб он стал предъявлять требования, которые природа уже не могла не удовлетворять.

Я хорошо помню, как это здесь начиналось. К обрывистым скалам у Кичкаса подошел первый эшелон с рабочими. Прямо в степи, где не было не только вокзала, но даже фанерного барака, выгружали инструменты — лопаты, кирки, ломы, молоты. В это время на противоположном берегу появились вереницы крестьянских подвод — это стекались грабари к месту великой стройки. Они ехали медленно и деловито и издали были похожи на древние казацкие обозы, которые направляются в Крым за солью.

Люди вручную копали первый котлован — экскаватор был редкостью. Но постепенно стали прибывать грузовики, землекопов начали заменять механизмы... Повсюду взметнулись ввысь стреловидные «Деррики», они вонзились в небо своими ажурными башнями, в корне меняя его привычный облик. Грабарей становилось все меньше и меньше: машина начала заменять человека, мотор — упорно вытеснять лошадей. На стройке зазвучали уверенные голоса такелажников: человек почувствовал свою власть и силу... С каждым месяцем он становился увереннее: молчаливый, забитый степняк превращался в хозяина и властелина природы.

Позже, когда наступил период пуска и за спиной невиданной плотины замер разлившийся Днепр, всей

стране была известна блестящая плеяда героев, воспитанных Днепростроем. Это были уже не десятки, а тысячи, они видели воочию, что их творческая дерзость увенчана неслыханной победой и это рождало в них стремление к новым победам на новых местах.

Первая электростанция на Днепре давно стала для нас далеким прошлым. За ней последовали Каховка, Иркутск, Куйбышев... На очереди Канев, Кременчуг, Братск... Неизмеримо увеличились масштабы, сократились сроки, умножились мощности... Для конструкторов и строителей Днепрогэс теперь уже является чем-то давно превзойденным и навсегда оставленным позади.

Но по природе своей человек чувствителен, а порой и сентиментален. Как бы ни был он умудрен опытом и знанием, сколько бы ни пережил он чудесных лет, полных труда, борьбы и приключений, все равно, вспоминая свое детство или юность, он умиляется, переносится в воображении туда, назад, и с удовольствием мысленно бродит по некогда пройденным тропкам.

Для скольких нынешних укротителей Волги и Ангары Днепрогэс является радужной и прекрасной юностью!.. Сколько их, такелажников и бетонщиков первой Днепровской плотины, ставших теперь большими строителями новых великих гидроэлектростанций! Их юность — на Днепре. Здесь ими впервые овладела дерзость и страсть покорителей великих рек, здесь они научились сознательно вмешиваться в тысячелетнее течение истории, направляя ее по новому руслу. Могут ли теперь эти зрелые и опытные люди вспоминать без волнения скалы у Хортицы и те далекие, но прекрасные годы!

Наше время непостижимо стремительно. Перемены происходят ежеминутно, и за ними не успеваешь следить. Давно ли мариупольская девочка Поля Осипенко бежала босиком по пыльной улице, запрокинув голову и жадно следя за медлительными движениями огромной стрекозы, которая в те времена почему-то называлась аэропланом? Могла ли Поля думать тогда, что пройдет лишь четверть столетия и для человека почти исчезнет предел скорости и высоты, а из Москвы до Нью-Йорка можно будет долететь на советском самолете за одиннадцать часов!

Сейчас это нам кажется обычным делом: обстоятельства легко изменяют человеческие представления. Перегораживая Волгу в рекордно короткие сроки, мы уже почти не помним, сколько долгих лет нам понадобилось когда-то, чтобы обуздать Днепр. И кто знает, может быть, совсем недалеко тот день, когда советский человек так же просто обуздает космические стихии и еще раз убедится в неспособности самой крылатой мечты состязаться с его практическими возможностями.





### *Река начинается от ручейка*

Это великое счастье — быть каплей в трудовом человеческом океане, сознавать, что сделанное тобой является маленькой частичкой, крохотным винтиком могучего механизма, созданного миллионами трудовых людей.

Те, кто ничего не создает, лишены такого счастья. Они не в состоянии проявить бескорыстную заинтере-

сованность в судьбе другого, неизвестного им человека — пусть такого же белоручки, как сами. Они не могут рассчитывать на поддержку себе подобных, если за нее не заплачено чистоганом. Им непонятны чувства людей, которые умеют строить и петь песни.

Стоя на берегу широкой и полноводной реки, мы редко думаем об узком ручейке, с которого она берет свое начало. Уж таким создан человек — наслаждаясь спелым плодом, он часто забывает вспомнить о заботливой руке, зарывшей когда-то в землю маленькое зернышко. Между тем, без такого воспоминания невозможна полнота картины. Как оценить по-настоящему действительность, если не учесть великих трудов, при помощи которых она была создана?

Это не секрет: часть нашей молодежи принимает свое положение чуть ли не как само собой разумеющееся даяние. Бесплатное обучение... стипендии... санатории... стадионы... Попробуйте-ка спросить у иного юноши, откуда все это взялось. Всякий ли подумает о Владимирке и братских могилах бунтарей? Многие ли при этом вспомнят об Андрее Желябове и Степане Халтурине? Увы, плод сладок, и стоит ли вспоминать о слезах, которыми он полит!.. Между тем, подобная разновидность «потребительского легкомыслия» ведет к серьезным последствиям: человек, не желающий думать о самоотверженных предшественниках, вряд ли сумеет стать самоотверженным последователем.

Надо чаще, как можно чаще напоминать нашей молодежи о ленинской маевке в Шушенском, о высоком вдохновении, которое возбуждала в сердцах борцов сама мысль о единстве людей. Вспомните это трогательное и вместе с тем торжественное первомайское шествие четырех ссыльных революционеров... «В поле

нас было больше, уже шесть человек, так как Проминский захватил своих двух сынишек», — писала Н. К. Крупская.

Вспомните веселую песню, в которой столько радостного презрения к окружающим их «надзирателям»:

День настал веселый мая,  
Прочь с дороги, горя тени!  
Песнь, раздайся, удаляя!  
Забастуем в этот день!

И дальше — о том, как «полицейские до пота правят подлую работу», стараясь изловить все разумное и живое, чтобы засадить за решетку. Но однако:

Мы плюем на это дело,  
Май отпразднуем мы смело,  
вместе разом,  
гоп-га! гоп-га!

«А вечером мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие...» — вспоминала Крупская.

Сколько презрения к своим врагам в этом озорном «Гоп-га!» и сколько вдохновенной веры в мечтах о мощных рабочих демонстрациях! Да, эти люди умели верить в труд, который объединит людей и победит насилие и неправду.

Имела ли их вера под собой надежную почву, знаем мы — поколение, вкушающее плоды их веры. Всего лишь полстолетия с небольшим прошло со времени Ленинской маевки, а иным стал уже весь мир. Мощные демонстрации, о которых мечтали два человека в полицейской неволе, не только действительно

состоялись, но и в корне изменили облик человечества. Идея солидарности трудящихся стала непобедимой материальной силой, перед которой приходится отступать королям и президентам. Разве великое движение за мир, охватившее все уголки земного шара, не является тем же проявлением солидарности трудовых людей? А разве оно на наших глазах не становилось непреодолимой преградой на пути многомиллионных армий, не хватало за руку самых могущественных поджигателей войны? Ведь именно этой солидарности человечество обязано тем, что в наши дни на земле царит мир — пусть нетвердый, но все-таки вселяющий уверенность и надежду.

Путь мощных демонстраций, о которых в далекой Сибири мечтал Ленин пятьдесят пять лет тому назад, не окончен. Мир еще не перестроен целиком по Ленину, но мы, коммунисты, знаем, что это неминуемо. И мы хотим, чтобы молодое поколение верило в это так, как верил Ильич.

На днях мне довелось присутствовать на одном из Ленинских вечеров в Киеве. Перед собравшимися выступали два старых большевика с воспоминаниями об Ильиче. Одному из них выпало в жизни великое счастье — он несколько раз встречался с Лениным. Второй только видел его, только слышал его выступления.

Рассказ первого товарища был выслушан с огромным вниманием. И это понятно: он мог рассказать о том, что знает об Ильиче только он. Но вот вышел на трибуну второй, который, казалось, мог поделиться с аудиторией всего лишь внешним впечатлением. И — странное дело — постепенно я стал замечать, как и этот рассказчик овладевает вниманием слушателей, как

в зале воцаряется звенящая тишина и все сидят в напряжении, боясь пропустить хоть одно слово.

Он рассказывал о себе — о том, как задолго до революции пришел к ленинизму, как старший брат-большевик дал ему прочесть тоненькую брошюрку Ленина и какое она оказала влияние на него. И когда седой ветеран вынул из кармана маленькую, заботливо подклеенную тетрадку в розовой обложке — ту самую ленинскую брошюрку, которую он с таким трудом сумел сохранить на протяжении целых десятилетий, — это произвело на всех неизгладимое впечатление.

Почему его рассказ так тронул наши сердца? Ведь о самом Ленине он как будто не мог нам рассказать ничего особенно нового! Все мы знали давно, в чем была сила ленинской речи, как воспринимали его слова слушатели... Но дело в том, что рассказ этого большевика о своем пути, так крепко связанном с революцией, уже сам по себе был интересен для аудитории, состоящей в основном из молодежи. Перед нею стоял человек, который еще тогда читал Ленина, человек, который еще тогда стал большевиком, человек, который прошел сквозь царские тюрьмы и ссылки, человек, жизнь которого может быть примером. Трогательная тоненькая брошюрка была фактом, неопровержимым фактом, сделавшим этот рассказ еще более убедительным и реальным. Я не сомневаюсь: в зале не было и не могло быть ни одного человека, которого бы он не взволновал.

Да, верно то, что некоторую часть нашей молодежи можно упрекнуть в «потребительском легкомыслии». Но верно и то, что старшее поколение в одном отношении находится в неоплатном долгу перед ней. Старые большевики еще мало рассказали молодежи о

своей героической жизни и борьбе. Старые большевики редко берутся за перо. Конечно, прожитая жизнь и революционное дело сами говорят за себя. Но может ли что-нибудь иметь большее воспитательное значение, чем рассказ, услышанный из уст участника и очевидца?

Об этом надо подумать. Мы заботливо собираем каждую черточку из жизни декабристов или шестидесятников и поступаем совершенно верно. Но уходят, безвозвратно уходят люди, которые в Октябре преобразили мир, а с ними навсегда исчезают драгоценные черты их жизни и борьбы.

Май стучится в наши окна ветками распускающихся каштанов, птичьим щебетаньем, освежающим заднепровским ветерком. Не странно ли в эту благодатную пору упрекать молодежь, чьи сердца так переполнены весной и вряд ли расположены к восприятию упреков? Юноши и девушки сейчас думают о предстоящих спортивных соревнованиях, об интересных встречах у нас и за рубежом... Но, если вспомнить, что и сами-то эти встречи и соревнования явятся «мощными демонстрациями», о которых когда-то мечтал Ильич, то мысли о них неминуемо свяжутся с чувством гражданской ответственности перед всеми, кто видит в нас исторический пример.

Хочется, чтобы в юных сердцах радость праздника всегда вызывала воспоминания о людях, завоевавших молодому поколению право быть хозяевами на земле. Не для того, чтобы «отдать дань», не для того, чтобы к сладости плода примешать каплю горечи от думы о жертвах. Нет, дума эта обострит чувство ответственности перед судьбами человечества, перед будущим, которое надо завоевывать.

**НЕ**



**ОСЛОЖНЯЙТЕ**

**ЖИЗНЬ!**





### *Не осложняйте жизнь!*

**Н**е так давно в одной из киевских гостиниц произошел инцидент. Три гражданина, проживавшие на пятом этаже, собирались уезжать. Через полчаса уходил их поезд, но когда они дотащили свои тяжелые чемоданы до площадки, проезжавший мимо лифтер приоткрыл дверцу и саркастически заметил:



«Инструкции не знаете, граждане! Вниз не возим!» — и, звонко щелкнув дверцей, проплыл мимо.

Тут-то и началось. Людям показалось диким и не-суразным, что пассажиры, для которых, собственно, предназначен лифт, должны спускаться пешком с тяжелой ношей, в то время как лифтер, долг которого возить пассажиров, катается в пустом лифте. И вот все трое вернулись в свои комнаты и стали звонить к администратору.

— Не подадите лифта — не уйдем из гостиницы. Поезд? Принцип для нас важнее!

Администратор упорствовал и тоже ссылался на инструкцию. Конечно, он не совершил бы уголовного преступления, если бы приказал подать лифт, но ведь он знал, что до отхода поезда осталось двадцать пять минут и бунтовщики все равно вынуждены будут покориться.

Как развивались дальнейшие события — не столь важно. Лифт не был подан. Видимо, упрямы опоздали на поезд и были жестоко наказаны. Легко себе представить, что когда они вернулись с вокзала ни с чем, администратор не предоставил им новых мест в гостинице. Расстроенные нервы, потеря проездного билета, ночь, проведенная в скверике, да еще, возможно, выговор директора предприятия за опоздание на сутки — вот цена, которую, видимо, заплатили гордецы за свое странное упорство.

Я не инженер и не лифтер и, может быть, поэтому не могу понять, чем объясняется существование странной инструкции, запрещающей пользоваться лифтами сверху вниз. Из своего скромного практического опыта я хорошо знаю, что поднимать тяжесть на этаж значительно труднее, чем нести ее вниз по

лестнице. Неужели машина отличается от человека еще и тем, что она особенно сильно амортизируется при выполнении именно самой легкой работы?!

Пусть читатель не думает, что единственная цель этой статьи — отмена бессмысленной, на мой взгляд, инструкции. Описанный случай кажется мне в некотором роде символическим, в нем, так сказать, образно выражено одно из странных явлений нашего быта, о котором стоит поговорить.

Весь мир знает, как много сделала советская власть для человека. Государство ассигнует сотни миллиардов рублей на то, чтобы облегчить жизнь, освободить людей от повседневных трудностей и забот, которые осложняют жизнь, быт, отдых. Но — странное дело! — видя эти огромные усилия государства, мы порой сами не делаем даже того, что не требует от нас никаких материальных затрат и нуждается только в проявлении с нашей стороны простой доброжелательности, обыкновенной вежливости и человечности. Если снова вернуться к истории с лифтом, то хочется воскликнуть: ведь лифт-то построен, деньги на него затрачены! Зачем же заставлять человека тащить свой чемодан вниз — ведь лифта от этого не убудет, ведь он сделан исключительно для того, чтобы тащить грузы!

Есть люди, страдающие особой разновидностью ханжества, — свой отказ сделать одолжение они мотивируют высшими соображениями. Это, как правило, люди с надутыми физиономиями. Их наигранная важность является лишь маской душевной черствости. Сталкиваясь с их холодным безразличием к нуждам других, с их фарисейством и цинизмом, невольно начинаешь думать, что они вылезли на свет

божий из переплетов гоголевских или щедринских произведений.

Как-то, проезжая по шоссе Харьков—Ростов, мимо Славянска, я остановился у бензоколонки, чтобы заправить свою машину. Впереди стояло еще несколько машин. Их водители что-то оживленно обсуждали.

Выяснилось, что бензина не продают. На дверях служебного помещения было написано: «Сегодня отпуск горючего не производится». Как литератор, я прежде всего обратил внимание на безграмотность объявления, но как водителя машины, меня поразило слово «сегодня». Сегодня бензин продавать не будут... А когда же — может быть, завтра? Выходит, что бензин есть, но по какой-то причине «отпуск» его не производится!

Я вошел и, как ни в чем не бывало, попросил заправить машину.

— Вы что, неграмотный? — удивленно поднял на меня глаза человек с короткими торчащими усами. — Там написано черным по белому — сегодня отпустить не будем.

— Как же так? — возмутился я. — На таком людном шоссе и вдруг нет бензина!

— Кто вам сказал, что нет? — искренне удивился мой собеседник. — По-моему, Баку исправно работает.

— Ах, вот как! Значит, горючее есть?

— Как не быть!

— Почему же машины не заправляют?

— Мы сегодняшней план уже выполнили, — и, как бы показывая всем своим видом, что разговор окончен, он уткнулся в замасленные бумаги.

Меня взорвало. Сквозь большое окно я видел, что у колонки стоит уже не несколько машин, а целая вереница. Все водители оказались в безвыходном положении, но поделать ничего не могли.

— Да вы с ума сошли! — крикнул я. — Кто же станет планировать «отпуск» бензина, если он не может планировать количества проходящих машин?!

— Ах, вот как? — грозно поднялся он из-за стола. — Значит, вы против государственного планирования?.. Значит, по-вашему, планируют дураки!

Ничего не помогло — ни мольбы, ни запись в книге жалоб. Мы вынуждены были слить остатки бензина из нескольких машин и отправить делегацию с жалобой в город. Там наконец было получено распоряжение заправить машины. Но, как следовало ожидать, защитник планирования сумел заставить нас еще немало постоять у колонки, так как время подошло к полудню и он начал сдавать материальные ценности своему сменщику. На этот раз он с особой тщательностью все измерял, взвешивал и пересчитывал — ведь он знал, что целая вереница машин вот уже который час ожидает у его дверей.

Странные это «защитники» государственных интересов! Они почему-то не помышляют о перевыполнении и плана, хотя к этому стремятся все работники советской торговли. Не связана ли их зловредная педантичность с тем, что, перевыполнив план «отпуска», они невольно сделают людям любезность, облегчат им жизнь, выручат из трудного положения? А может быть, их оскорбляет даже само сознание того, что у замусоленной двери перестанут толпиться просители и исчезнет сладостное ощущение зависимости людей от их мелочной прихоти? Ведь низким людям всегда

приятно унижение других — оно как бы «оправдывает» их собственную низость.

Недавно мне понадобилось отправить письмо авиапочтой. Было уже поздно, и, обойдя несколько почтовых отделений, я выяснил, что в столице Украины, в Киеве, имеющем свыше миллиона населения, существует только одно место, где принимают авиаотправления вечером, — это центральный телеграф.

В просторном зале было почти пусто. Лишь два посетителя стояли у окошка, в которое нужно было обратиться и мне. Кстати, эти двое пришли сюда вместе и вдвоем сдавали один пакет. Стало быть, работница телеграфа совершенно не была загружена работой. Она взвесила мой конверт и подала в окошко несколько марок.

— Почему же вы их не наклеиваете? — с недоумением спросил я.

— Это не входит в мои обязанности, — проворчала она и отвернулась.

— Но ведь и я не могу их наклеить — чем же я их смочу?

— Чем? Вы не знаете, чем смачивают марки все посетители?

— Да ведь не языком же мне их лизать? — возмутился я.

— А что же вы за господин такой? Все лижут, и вы лижите! — и она демонстративно передвинула на дальний угол стола губку с водой, которой, видимо, пользовалась лично.

Когда я потребовал жалобную книгу, она со злостью швырнула мне на стойку свою губку и крикнула:

— Только кляузничать умеете... За день так голову заморочат, что...

Сцена эта была настолько дикой, в голосе женщины звучало такое озлобление, что я до сих пор помню овладевшее мною чувство растерянности, когда от возмущения лишаешься дара слова и просто не находишь, что ответить.

Не знаю, входит ли в обязанности почтовых работников наклеивать марки. Сейчас меня интересует не это. Очень может быть, что, издав инструкцию, запрещающую им это делать, какой-то мудрец из Министерства связи забыл упомянуть о необходимости поставить на стол смоченную водой губку для нужд посетителей.

Интересно другое — почему в голосе человека, который находится на службе и исполняет свои обязанности, звучит такая нетерпимость, такая раздражительность? Ей, видите ли, «за день заморочили голову». Но ведь и люди, которые приходят на почту, такие же рабочие или служащие, — почему же она не допускает, что и они за день устали?!

Я не требую от почтовых работников высшего проявления благовоспитанности, которая, как утверждал Оскар Уайльд, заключается в умении скрывать свои эмоции. Но неужели человека не оскорбляет то, что он позволяет себе оскорблять других?! Неужели, унижая человеческое достоинство советом «лизать» марку языком, он в то же время сам не чувствует себя униженным?

Случай этот не единичен. В 30-м почтовом отделении Киева я сам видел женщину-курьера, которой нужно было наклеить марки на многие десятки пакетов. У нее не было другого выхода — приходилось

«лизать языком» сотни марок. Когда же я возмутился и, вызвав начальника почтового отделения, указал на негигиеничность подобного занятия, начальник, как бы сговорившись с работницей телеграфа, тоже презрительно бросил:

— Ничего, пусть лижет!..

Стыдно говорить о подобных вещах. Стыдно потому, что решительно ничего не стоит сделать так, чтоб об этом даже и разговор стал невозможен. Стыдно, ибо ничего, кроме доброй воли, не требуется для того, чтобы не унижать людей. Нужно лишь осознать, что посетители существуют вовсе не для того, чтобы у тебя была должность; ты работаешь, чтобы служить посетителям!

Я был свидетелем и другой возмутительной сцены, разыгравшейся у центрального входа в Киевский вокзал. Мимо двух дюжих контролеров текла пестрая толпа отъезжающих и провожающих. Люди проходили медленно — для того, чтобы предъявить билет контролеру, каждый должен был остановиться, поставить вещи на пол, добыть из кармана бумажник, а из него — проездной билет. Сзади напирали, кто-то кричал, что опаздывает на поезд, кто-то вслух ругал железнодорожные порядки...

— А вы бы несли билеты в зубах, коли руки заняты, — поучал контролер. — Из зубов я бы сам доставал их!..

В толпе шел немолодой человек. В каждой руке он нес по увесистому чемодану, под мышкой был у него плохо связанный сверток, а на спине, крепко уцепившись за шею, восседал мальчонка лет четырех-пяти. Человек этот сильно взмок, по лицу катились крупные капли пота. Видимо, он опаздывал, и

к физическому напряжению примешивалось еще и нервное.

Это был один из многих недогадливых неудачников, который тоже не сообразил, что, как поучал контролер, в подобной ситуации необыкновенно удобно держать билет в зубах. Но контролер был неумолим: несмотря на то, что это сильно задерживало движение и вызывало общий ропот, он требовал, чтобы гражданин все же предъявил билет — иначе в вокзал его не пустят.

— Неужели я стал бы тащить к поезду столько вещей, если бы не имел билета?! — возмутился тот. — Ведь поезд через пять минут уходит — жена уедет без меня!

Но логика была бессильна. Кликнув милиционера, контролер быстро избавился от необходимости входить в положение пассажира.

Я не знаю, чем кончилась эта история. Я только видел, как человек разрыдался от обиды, от унижения и, главное, от бессилия. Люди возмущались, стыдили контролеров... Но ведь все спешили, никто не имел возможности задержаться и по-настоящему помочь человеку!

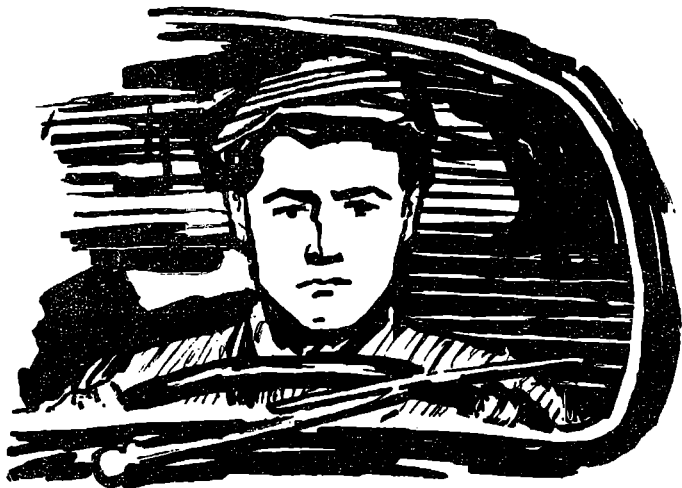
Кто и зачем установил, что при входе в вокзалы нужно предъявлять проездные билеты? Ведь проводник вагона все равно никого не пропустит в поезд без билета! Зачем же создавать еще одну очередь у вокзала? Зачем, наконец, платить зарплату десяткам людей, которые стоят на всех входах и выходах и только зря задерживают пассажиров, которым и без того некогда?! Эти люди — может быть, в силу специфики своей работы — грубы, они хватают людей за рукава, даже не подозревая, что это оскорбительно.



«Хорошо,— скажут иные работники Министерства путей сообщения,— но ведь перронные-то билеты проверять нужно!»

Почему? Зачем? С какой стати взимают плату за то, что жена провожает отъезжающего мужа не до привокзальной площади, а до самого вагона?! Ведь этак можно потребовать рубль и за вход на привокзальную площадь! Но справедливо ли это — вот вопрос. В конце концов, если без этого рубля нельзя обойтись, то не лучше ли прибавить его к стоимости проездного билета, чем содержать специальных кассиров, создавать очереди у перронных касс, не говоря уже о тех, что толпятся перед контролерами!

Об этом можно говорить без конца. Фактов — тысячи. Порой они значительны, порой мелки. Но во всех случаях они оскорбляют достоинство советского человека. Вокзал выстроен — он стоит много миллионов рублей,— не превращайте это богатое и удобное здание в орудие пытки; лифт работает, его движение бесшумно и легко; он может оказать хорошую помощь человеку. Не придумывайте способов ослабить ее. Ведь жизнь и без того сложна — у каждого свои заботы. Зачем же усложнять ее безразличием к нуждам других?!



## *В защиту шофера*

**К**ак-то мне пришлось побывать в Киевской автоинспекции. На моих глазах разыгралась сцена, весьма характерная для этого учреждения, куда водители являются в поисках справедливости.

Дело было в кабинете начальника. К нему вошел человек, с машины которого сняли номер за якобы плохой внешний вид кузова. Он решил пожаловаться

на несправедливые придирки и попросить вернуть номер.

Но пожаловаться ему не удалось. Он стоял перед письменным столом и мял в руках фуражку, так как начальник уже сел на своего любимого конька. Развалясь в кресле, засунув обе руки в карманы своего галифе, он читал ошеломленному посетителю угрожающую нотацию. Конечно, стула он ему не предложил. Упиваясь своим начальническим красноречием, он пресекал каждую попытку просителя вставить хоть одно слово.

Я смотрел на эту уродливую сцену и с горечью думал о многих честных и трудолюбивых шоферах, которые часто совершенно незаслуженно попадают в такое положение. Они не смеют оправдываться, ибо, как правило, это только усугубляет дело, и считают счастьем, если удастся отделаться штрафом. Заслуживают ли они такого унижительного положения? Не всегда, далеко не всегда!

Слов нет, попадают еще среди шоферов и недисциплинированные люди, нарушители правил движения. Но в подавляющем большинстве нынешний шофер — настоящий труженик, весьма опытный и технически грамотный человек, хорошо знающий современную машину, чуткий к нуждам других, готовый помочь и выручить из беды товарища по профессии. И, конечно же, трудно себе представить шофера, сознательно нарушающего порядок, так как является он профессионалом и относится к машине, как всякий добросовестный рабочий к своему станку и рабочему месту, которое кормит его самого и его семью.

Было время, когда автомобиль являлся редкостью.

Как правило, за руль отваживался сесть только смельчак, «отчаянная душа», а порой и сорвиголова. Такой удалец мог себе позволить и покрасоваться перед изумленной публикой, и бесшабашно промчат в запрещенном месте, и даже похулиганить. С тех пор в сознании многих пешеходов утвердился образ шофера-куродава, шофера-лихача, который вполне заслуженно нашел себе место среди действующих лиц популярных некогда водевилей.

Но те времена остались далеко позади. Автомобиль давно уже стал бытовым явлением, без которого немыслима ни работа современной промышленности, ни масштабы нашего строительства, ни даже обыденная жизнь каждого из нас. Водители — это теперь уже миллионы людей, большой и очень важный отряд рабочего класса, это такая же распространенная профессия, как профессия токаря, слесаря или сварщика. Современная машина быстроходна, она обладает большой грузоподъемностью, ее оборудование весьма сложно. Ясно, что человек, обслуживающий такую машину, не может находиться на профессиональном уровне своих наивных, хотя порой и лихих предшественников.

И все же, не боясь преувеличения, должен сказать, что отношение к этому огромному отряду рабочих людей во многом осталось прежним. И не только со стороны «пешеходов», которые, можно сказать, поминутно сами нарушают правила уличного движения, не желают следовать ни руководству светофора, ни указанию регулировщика и считают вполне нормальными свои раздраженные упрёки по адресу водителей,двигающихся по всем правилам уличного движения. С ними ничего не поделаешь: ведь еще

Остап Бендер утверждал, что пешеход всегда прав! Но даже регулировщики, даже автоинспекторы продолжают относиться к водителю, словно к потенциальному лихачу, в котором как бы самой природой заложены семена правонарушительства!

Такое отношение неверно, несправедливо и даже бесчеловечно.

Что это не преувеличение, доказывает не только каждодневная практика автоинспекций, но и всевозможные инструкции и постановления местных органов власти, которые узаконивают подобную практику в отношении водителей автомобилей.

В самом деле, можно ли себе представить, чтобы мастеру, начальнику цеха или даже директору завода было дано право на месте штрафовать или переводить в низшую категорию за малейшую оплошность токаря, слесаря или сталевара? К тому же и штрафовать-то на произвольную сумму, переводить не на один, а на два разряда сразу! Ни в какой области производства это невозможно. А можно ли себе представить, чтобы мастер или директор завода имел право за проступок, порой незначительный, лишить кого-либо права работать на полгода или даже на год? Нет, этого себе уже наверняка представить невозможно. Такие меры наказания вправе выносить только суд, который заслушивает обе стороны и руководствуется законом и справедливостью.

Однако водителя можно без всякого суда и оштрафовать на месте, и поменять ему талон, и лишить права работать. Правда, существуют так называемые дисквалификационные комиссии, заседающие публично и имеющие видимость некоего разбирательства дела... Но тому, кто присутствовал на заседаниях,

которыми руководил, например, заместитель начальника ОРУДа г. Киева Коробейников, совершенно ясно, что заседания эти устраиваются не ради выяснения истины, а исключительно для устрашения шоферской аудитории. Отсутствие процессуальных норм подобного разбирательства и строго ограниченных законом мер наказания приводят к тому, что и здесь царит произвол. На «обвиняемого» кричат, ему угрожают, пресекают попытки объяснить обстоятельства дела и в результате, как правило, остается в силе приговор, принятый автоинспектором на улице. Всякие попытки шофера оправдать себя бесполезны и только ухудшают его положение.

В чем же заключается большинство шоферских проступков? Главные из них: 1) остановка или стоянка в недозволенном месте; 2) проезд по запрещенной улице; 3) плохой внешний вид машины. Остановился под знаком — плати 25 рублей, проехал по запрещенной улице — отдай шоферские права, оставь работу. Помят колпак или на крыле царапина — снимай номерной знак и прекрати работу!

Но, скажем прямо, очень часто шоферы вынуждены нарушать эти запреты. В наших городах столько улиц украшено запретительными или ограничивающими знаками, что в нужное место порой физически невозможно проехать. Например, в районе Киевского крытого рынка, где сосредоточена торговля колхозными продуктами, грузовая машина без особого пропуска вообще никак проехать не может. Чтобы попасть, например, от Госпитальной улицы до площади Богдана Хмельницкого, грузовику нужно проделать десять километров вместо двух. На одной из сторон Пушкинской улицы, где находится городская

железнодорожная станция, не разрешается остановиться. Стоянка запрещена даже на Крещатике, ширина которого настолько велика, что здесь можно было бы разрешить ставить машины в четыре ряда без ущерба для движения!

В других городах не лучше. Так, например, Московская автоинспекция запретила стоянку у ТЭК, где должны принимать груз идущие в рейс порожняком грузовые машины и где они поэтому все равно вынуждены стоять, даже под угрозой штрафов. Какой в этом смысл? В Чернигове нельзя стоять у гостиницы, в Лубнах — у дорожного ресторана... Почему? Неужели автоинспекции надеются таким примитивным способом отвести кого-либо от вакхических соблазнов? Не разумнее ли дать возможность человеку остановиться у ресторана и быстро поесть, нежели заставлять его зря тратить время?

Один лукавый шофер рассказал мне о хитрости, при помощи которой ему удалось проехать из Киева в Москву без единой «отметины». Он все время пропускал вперед машину некоего простака и, когда того останавливал инспектор, проскакивал вперед и поджидал в полукилометре. Затем он снова пропускал вперед «обиженного» и ехал позади до очередного орудовского поста... Так он поступал все время, и ему удалось благополучно доехать до Москвы и проехать «даже Тулу». Но зато уж ехавший впереди незадачливый простак понес ужасный урон, особенно от компостеров повсеместно знаменитых своей строгостью тульских орудовцев!

Недавно Киевский горисполком решил «упорядочить» движение грузовых автомобилей и обнародовал список центральных магистралей, по которым теперь

запрещается движение грузовиков. Отныне грузовой транспорт поставлен прямо-таки в безвыходное положение. Многокилометровые объезды по непригодным улицам отнимают уйму времени, огромное количество горючего, хотя город не так уж и загружен автотранспортом. Почему и зачем это делается? Не по причине ли, аналогичной той, по которой запрещено даже останавливаться на Пушкинской улице, где проживает председатель горисполкома т. Давыдов?

Нет, не хозяйственными соображениями, не удобствами людей, не практической целесообразностью руководствуются кое-где при решении вопросов о движении транспорта. И удивительно ли, что порой шофер, чтобы выполнить задание, вынужден нарушить то или иное правило. Шофер Ф-кий, например, привез больного с переломанной ногой к подъезду рядом с театром. Здесь висел почему-то запретительный знак. Автоинспектор немедленно оштрафовал Ф-кого на 25 рублей. Бессмысленно? Бесчеловечно? Да. Но раз повешен знак, больного надо высадить в двухстах метрах от подъезда, иначе ты будешь жестоко наказан или даже лишен права работать вообще.

Автоинспекторы, конечно, возразят, что профессия шофера-де особая, что здесь необходима строгость, ибо каждая авария, мол, угрожает жизни людей... Но дело-то в том как раз и заключается, что при авариях, при совершении тяжелых проступков автоинспекция не в праве наказывать шофера без суда, а за незначительные промахи, за вынужденные нарушения ей почему-то дано практически неограниченное право карать и миловать и даже лишать рабочего человека его единственной профессии!



Не странно ли: каждый гражданин может с полным основанием повторить слова Маяковского «моя милиция меня бережет» и только шофер с горечью знает, что бережет-то она всех от него, от шофера!

Особо благодатным материалом для придирок являются частные владельцы и провинциалы. Кто не видел, с каким зловещим спокойствием орудовец подходит к запыленной и неказистой машине с загородным номером! Машина немыта, верно. Но ведь на въездах в Киев нет ни одной станции обслуживания, машину попросту негде помыть. Ответ на это один: «меня не касается». И робкий парень платит штраф, лишь бы ему не обменяли талона. Ведь возвратись он в колхоз «с отметиной», и председатель, чего доброго, заподозрит, что шофер из его колхоза в командировке действительно накуролесил! Между тем, этот сельский парень — самый добросовестный, любознательный и добрый шофер в мире. Попробуйте остановить его на дороге, если с вашей машиной что-то приключилось. Он будет копать час и два, но найдет пропавшую «искру», разгадает, почему не включается передача... Ведь он — самый знающий среди шоферов: в деревне у него нет помощников, он должен уметь разобраться в электрооборудовании, уметь наладить мотор, своими руками отремонтировать ходовую часть... Как врач в сельской больнице, он обязан быть мастером на все руки!

Что же касается владельцев частных машин, то в них блюстители дорожной нравственности почему-то видят сплошную массу «калымщиков» и пропойц. Попробуйте-ка зайти в ресторан, чтобы съесть яичницу. Когда вы возвратитесь на стоянку, у вашей машины будет ждать автоинспектор. В лучшем случае

он вам не слишком учтиво прикажет «дыхнуть» с целью обнаружить присутствие веселящих паров, в худшем — он отберет ваши права и, сев за руль машины, отведет ее на штрафную площадку. Попробуйте-ка завтра доказать, что вы человек непьющий и были совершенно трезвы, когда вышли из ресторана!

Но, хотя машина является вашей собственностью, вы не имеете также права подвезти по пути женщину или старика, которые «голосуют» у обочины. Вас немедленно заподозрят в преступном корыстолюбии. Я сам был свидетелем того, как по дороге в Сухуми автоинспектор заменил майору Советской Армии первый талон сразу на третий только за то, что тот подвез старика от одного селения до другого. Нелепо, конечно, подозревать, что майор, приехавший с женой на собственной машине из далекого Горького, чтобы провести отпуск на Кавказе, станет заниматься промыслом, к тому же явно невыгодным! Но талон был отобран, и майор смолчал. Он хорошо знал нравы дорожного начальства и был доволен, что не лишился прав езды за тысячу километров от дома.

Справедливости ради должен заметить, что приморских автоинспекторов совершенно не интересуют машины иного рода, которые застелены коврами, разукрашены сверкающими побрякушками и регулярно курсируют между Гагрой и Рицей. Эти машины, несомненно, весьма доходны, но автоинспекторы почему-то стыдливо отворачиваются, когда, переполненные веселыми пассажирами, они проезжают мимо...

Частных владельцев машин теперь в нашей стране десятки тысяч. За рулем можно встретить и знаме-

нитого физика, и популярного писателя, и шахтера, и инженера, и колхозного бригадира... Но эти люди оказываются во власти произвола еще чаще, нежели профессиональные водители.

Известно, что, как правило, государственная машина содержится в оборудованном гараже: здесь можно и выправить вмятину, и закрасить царапину, и перекрасить машину целиком. Частный владелец лишен этих возможностей. Если ему необходимо подкрасить пятно, то это порой превращается в целую проблему. В Киеве, например, на автомобильной станции обслуживания надо ждать очереди не меньше месяца. Я уж не говорю о том, что окраска машины не такое дешевое дело: рядовой рабочий или интеллигент не в состоянии каждый раз перекрашивать свою машину по прихоти автоинспекции. Между тем, такое растяжимое понятие, как внешний вид,— главное, что интересует ее при техосмотрах. Плохой внешний вид — это и помятый колпак, которого нет в продаже, и водяное пятно, появляющееся на кузове из-за недоброкачественной заводской окраски... Да, наконец, и естественное постарение, которого, к сожалению, никто и ничто вообще не может избежать!

Но все это автоинспекции не касается. И с десятков совершенно исправных машин снимают номерные знаки только потому, что какое-то малозаметное пятнышко или закрашенная царапина оскорбляет эстетическое чувство чрезмерно взыскательного автоинспектора.

Советским людям чужды проявления своевластия и произвола. Дико выглядят в нашей среде иные «начальники», которые порой забываются и теряют уважение к людям.

Да, автоинспекции являются хозяевами автомобильного транспорта на улицах и дорогах страны. Но настоящий хозяин обязан быть не только взыскательным, но и заботливым. Предъявлять неисполнимые требования — значит проявлять произвол. А ведь это касается миллионов людей...

И, мысленно возвращаясь к воспоминанию о неприятной сцене в кабинете начальника киевской автоинспекции, я невольно думаю: а вот взять бы этих двух людей и поменять местами! Посадить бы на годик-другой зарвавшегося начальника за руль грузовой машины — пусть поймет нужды простых шоферов, пусть их думы станут близки и ему. А робкого посетителя, хорошо изучившего истинное положение в автомобильном транспорте, — за его письменный стол! От этого, несомненно, была бы обоюдная польза: у руля сидел бы шофер, которому весьма полезно ощутить на себе неограниченную власть блюстителей порядка на автомобильных дорогах, а за столом начальника автоинспекции — руководитель, который отлично знает жизнь людей своей профессии; и, освоившись с делом, будет человечным и справедливым начальником.



### *Поговорим о детях*

**К**ак-то перед рассветом улица огласилась трехпалым свистом и диким улюлюканьем. Испуганный, вскочил я с постели, не понимая, что происходит. Когда я подбежал к окну, то увидел, что из окон соседних домов тоже выглядывают всполошенные люди.

Вверх по улице Коцюбинского шла толпа десятиклассников. Как выяснилось позже, это были выпускники 91-й школы Киева. У них закончился выпускной

вечер, и по старой прекрасной традиции, как бы выражая этим символически свое торжественное вступление в самостоятельную жизнь, они направлялись встречать восход солнца.

Я смотрел на орущих юнцов и ничего не мог понять. Никто никого не убивал. Все были по-праздничному приодеты. Позади чинно шествовали их учителя и родители. И в то же время тихий ночной город оглашался такими воплями, будто дело происходит в джунглях, и даже в тысяче километров нет ни одного человека, который должен отдохнуть перед трудовым днем и поэтому способен возмутиться невообразимым шумом.

Долго еще катилась по улицам волна воплей и выкриков, подымая с постелей все новые и новые сотни спящих людей и заставляя, видимо, не одного меня задуматься над этим странным явлением.

Что это было? Откуда такое вопиющее презрение к покою спящего города? И почему так равнодушны родители и педагоги, провожающие своих детей и питомцев? Неужели им не стыдно присутствовать и этим самым невольно освящать подобную дикость? А может быть, после многих попыток обуздать разгулявшихся юнцов они уже потеряли всякую надежду и махнули на все рукой?

Пожилым, а тем более старым людям, свойственно ставить в пример свое поколение. «В наше время такого, мол, не было!» Происходит это, видимо, потому, что плохое забывается быстрее и легче, нежели хорошее. Конечно же, порывшись в памяти, можно припомнить и из истории «наших времен» немало подобных, а то и куда более уродливых явлений. Но ведь в былые времена они под собой имели социальную почву!

Откуда же они берутся и что их питает в нашем обществе теперь, когда среднее образование стало всеобщим, когда пионерские отряды и комсомол охватили огромное большинство юношества, когда советское государство столько делает для воспитания молодого поколения?

Надо признать, что, говоря о несомненных и действительных качествах нашей молодежи, мы порой стыдливо отворачиваемся, когда речь заходит о ее недостатках. Известно, что родители склонны многое прощать своим детям. Но известно также и то, что справедливый и требовательный отец в результате оказывается прав гораздо чаще, нежели всепрощающий и сентиментальный. Мягкотелость — плохая воспитательница, а родительская терпимость — худший враг детей.

Мы совершенно правы, когда подчеркиваем политическую активность нашей молодежи, ее трудовую доблесть, в результате которой она является участником многих замечательных подвигов нашего народа; но, думается, мы глубоко ошибаемся, когда умалчиваем о нередких фактах невоспитанности, невоздержанности, а порой и откровенной грубости, проявления которых, честно говоря, не так уж редки в юношеской среде. Достаточно вечером прогуляться по любой улице большого города, чтобы услышать отвратительное сквернословие или увидеть залихватски заломленную папироску в зубах безусого молодца, который не только не стесняется старших, но нередко демонстрирует свое полное пренебрежение к самому их существованию.

Не это ли пренебрежение обусловило и ночной разгул питомцев 91-й школы, о котором говорилось выше?

Невольно задумываешься в поисках причин этих отвратительных фактов. Известно, что никто не рождается плохим — плохим человек становится. Где же и когда это происходит?

Если проследить жизнь советского юноши от самой колыбели, то совершенно невозможно обнаружить какой-нибудь этап или форму воспитания, в разумности и полезности которой можно было бы усомниться. Любящие руки матери... Детсад... Наконец, школа, пионерский отряд, комсомол... Пройдя сквозь эти воспитательные этапы, ребенок впитывает в себя и материнскую нежность, и первые проблески близости к природе, он здесь усваивает наглядные уроки человеческого общежития, товарищества и уважения к людям... Но проходят годы, и в день окончания десятилетки, идя со своими сверстниками встречать восход солнца, он подымает на улице крики и улюлюканье, заставляя людей просыпаться в холодном поту.

Что ж, если человек не рождается плохим, а формы воспитания безукоризненны, то не кроется ли причина всех бед в некоторых сторонах внутреннего содержания той работы, которую проделывают воспитатели над чувствами и сознанием ребенка? Да, мать, конечно, не привьет ребенку плохих привычек... Но ведь мать уходит на работу, оставляя подчас ребенка без присмотра... Да, комсомольские собрания хороши — они прививают юноше чувство гражданской ответственности... Но ведь юноше нужна и романтика, он ищет и волнующего приключения!.. Да, советская школа дает юношеству основательные знания для вступления в самостоятельную жизнь. Но в ее программах нет ни одного предмета, который внушал бы ученику этические нормы и правила поведения среди людей!



Я знаю, у многих это вызовет улыбки... Но мне кажется, что юноша, которого бы школа, например, научила правильно сидеть за обеденным столом и как полагается пользоваться ножом и вилкой, такой юноша не пойдет по улице с папироской в зубах и не станет на Крещатике сплевывать сквозь зубы. Некоторые скажут: подобные навыки считались буржуазными... Но ведь и привилегия обучаться в десятилетней школе, которой ныне пользуется весь наш народ, в свое время также была лишь привилегией буржуазии! Ведь и школьный мундир, принятый нами теперь в десятилетках, также придуман в былые времена... Но мы одели в этот мундир школьника именно потому, что он является испытанным и надежным сдерживающим началом.

Я надеюсь, что меня никто не обвинит в желании свести все лишь к мелочам этикета. Речь идет не только об этих мелочах, хотя, на мой взгляд, они также имеют свое организующее значение, но и о всем комплексе этического воспитания подростков. Сдерживающее начало должно существовать в сознании человека не только как инстинктивное, врожденное чувство, но и как привнесенная норма, как результат воздействия опытного педагога на детскую психику. Мы обязаны полностью овладеть мыслями и воображением молодого человека и вооружить его сознание нашими новыми этическими принципами, которые выработал за сорок с лишним лет огромный опыт социалистического общежития.

Мне пришлось слышать об интересном, но тревожном случае, имевшем место в одном из украинских сел. Дело происходило в первые послевоенные годы. Вдруг кто-то обнаружил, что некоторые комсомольцы

исчезают по ночам и, возвращаясь домой только к утру, скрывают от своих родителей, где они были.

Позже выяснилось, что эти комсомольцы являются членами тайной организации. Когда ее раскрыли, то обнаружилось, что целью этой тайной юношеской организации было — делать добро: помогать вдовам обрабатывать их приусадебные участки, доставлять продовольствие старикам и детям погибших на фронтах Отечественной войны... И действительно, за время их деятельности у некоторых вдов неизвестные ночью вскопали огороды, а у иных возле дверей оказались мешки с мукой или картошкой.

Странно — почему членам местной комсомольской организации приходилось подобные поступки совершать тайно? Разве они не входят в обязанность каждого комсомольца?

Но в том-то и дело, что местная комсомольская организация занималась только «поднятием жизненного уровня послевоенного села», а не конкретными поступками, которые всегда стремится практически совершать доброе и отзывчивое сердце юноши! Здесь забыли также и о том, что в пылком сознании молодого человека самой природой заложено благородное стремление к проявлению доброты именно рыцарским путем, ему свойственна жажда приключений и таинственности. Но если бы секретарь комсомольской организации, ссылаясь, скажем, на необходимость поощрить самолюбие неимущей вдовы, поручил комсомольцам вскопать ее огород тайно, то ведь он не мог бы поставить птички против соответствующей графы своего рабочего плана! Да и графы-то у него такой в плане нет...

Так, не подозревая о существовании тонких и естественных черт юношеской психики, а может быть, просто давно уже забыв о них в силу своей великовозрастности, секретарь комсомольской организации невольно толкнул некоторых юношей на путь, который мог их увести совсем не туда, куда они от всей души стремились.

Но если подобный крайний случай и одинок, то можно привести множество других примеров поразительной формальности, сухости и даже черствости атмосферы в некоторых юношеских организациях, отталкивающей молодого человека, вместо того чтобы завладеть им по-настоящему и благотворно воздействовать на его сознание. Хуже всего то, что подобная отталкивающая сухость свойственна не только некоторым организациям юношества — она встречается порой и в пионерских отрядах и даже в детских садах.

Как-то мне пришлось купаться в речке Ирпень рядом с группой дошкольников. Это были милые четырех- и пятилетние карапузы, у которых горели озорные глаза, а энергия била через край.

Когда они разделись и аккуратно сложили свою одежду, раздался низкий повелительный бас воспитательницы:

— Дети, строиться!

Карапузы послушно вытянулись в цепочку вдоль берега, взялись за руки и застыли.

— Дети, в воду! — скомандовала воспитательница. И карапузы чинно вошли в реку.

— Дети, из воды! — раздалось через минуту. И ребятишки послушно, как осужденные, вышли на берег.

Они были похожи не на детскую группу, а скорее на дисциплинарный отряд. И воспитательница тоже не напоминала ласковой матери,— это была скорее надсмотрщица с лицом, кирпичным от загара. И невольно мне вспомнился чудесный рассказ Юрия Нагибина «Комаров», в котором изображен вот такой же карапуз и точно такая же воспитательница. Я уверен, что и эта называет своих четырехлетних питомцев не по именам, а по фамилиям, как называют захозов или агентов по снабжению. Ей не пришло в голову, что детям хочется поплескаться в теплой воде, а потом выйти на берег и построить домик из песка или погнаться вон за тем гусем...

В результате карапуз Комаров вынужден бежать в одной распашонке от своего женоподобного капра-ла, чтобы там, за забором, увидеть прекрасный и новый мир, в котором есть лягушки и молочные телята. Там у него впервые широко раскрываются любознательные глаза, полные восхищения и счастья, ибо не в своем детском садике познает он то, чего жаждет сердце ребенка. Но, предоставленный самому себе, он иногда может попасть и на чужой огород, и в чужой сад, где зреют чужие помидоры и яблоки... Так он совсем случайно может совершить и тот первый роковой поступок, который извратит его сознание и может стать в будущем причиной многих тяжелых последствий.

В этих условиях особенно возрастает воспитательная роль семьи и, конечно, в первую очередь — матери. Куда бы ребенок ни отлучился — в школу или на улицу,— пройдет час или два, и в конце концов он вернется домой. И хорошо тому, кто дома застанет мать: ласковым словом или суровым внушением она

сумеет найти путь к детскому сердцу. Но беда, если, придя из школы домой, ребенок оказывается предоставленным самому себе, так как мать находится на работе. Редко, очень редко такой ребенок устоит против соблазнов улицы. А ведь это к добру не ведет...

В прошлом наша промышленность была недостаточно механизирована, а затем разрушена войной. В те годы, в силу обстоятельств, женщина-мать вынуждена была работать наравне с мужчиной.

Но положение давно изменилось, и, мне кажется, настало время по-настоящему подумать о том, чтобы, не снижая заработка, дать возможность работающей матери уделить больше времени своему дому и ребенку. Ведь если дошкольника она может оставить в детском саду, то ученик, как правило, после занятий остается совсем без надзора.

Я знаю, найдутся люди, которые против этого возразят: подобное «неравенство» с мужчиной оскорбляет, мол, достоинство советской женщины. К тому же колхозницы работают, не пользуясь такой привилегией. Почему же давать ее городским?

Но эти доводы несостоятельны. Женщина в нашей стране пользуется во всем одинаковыми правами с мужчиной. Но кто же не согласится, что домашний очаг и воспитание ребенка лежат в основном на плечах матери, как весьма ответственный и тяжелый груз?

И, конечно же, никак нельзя сравнивать в этом смысле мать-работницу с матерью-колхозницей. Для деревенской женщины существует минимальная норма трудодней, и она куда ниже мужской нормы. И если домашние обстоятельства требуют, колхозница вправе ограничиться минимумом.

На заводах подобного производственного минимума для женщины нет. А воспитательная роль матери в городе куда сложнее, нежели в деревне. Ведь городская улица из-за своего простора и обилия соблазнов значительно страшнее для ребенка, чем сельская! Недаром хулиганствующий юнец, как правило, родом из города; деревенский паренек, который благодаря самой сельской обстановке всегда находится на виду у своих односельчан, ведет себя куда скромнее.

Мне кажется, следует пристальнее присмотреться ко всем этим и многим другим недостаткам нашей системы воспитания юношества. Обидно сознавать, что, достигнув огромного расцвета, социалистическое государство вынуждено принимать крутые меры для защиты своих честных и трудолюбивых граждан от людей, которые могли бы быть такими же честными и трудолюбивыми.

Но осудить преступление — это самое легкое, хотя и вполне естественное дело; ликвидировать условия его появления — вот цель.



### *Поговорим о родителях*

**Я** получил много писем от читателей по поводу статьи «Поговорим о детях», напечатанной в «Известиях» (3 сентября 1958 года). Некоторые из них подписаны группами матерей, а есть и письма, присланные от имени целых коллективов. За исключением некоего Н. Фортунатова (Барановичи), на высказываниях которого я останавлиюсь ниже,

читатели единодушно считают важным и актуальным вопрос об этическом воспитании подрастающего поколения. Всех глубоко беспокоят и горячо волнуют недостатки некоторой части нашей молодежи, которые выглядят особенно разительно на светлом фоне социалистического общества.

Многие подчеркивают, что, как люди ответственные за молодое поколение, мы порой бываем не только нетребовательны по отношению к детям, но — что еще хуже — нередко окружаем их тепличной атмосферой и, вместо истинной заботы, проявляем «идолопоклонство» перед ребенком. «Разве это правильно, — спрашивает пенсионер И. Виноградов (Куйбышев), — что в трамваях, например, официально забронированы места для детей, а не для стариков? В результате мы нередко бываем свидетелями, когда входит старик или старуха, а семилетнему крепышу и в голову не придет подняться. Да если он и зашевелится, то мамаша обязательно подскажет: «Алик, сиди, это твое законное место!» Это порождает в сознании ребенка зазнайство и ничем не оправданное чувство превосходства над взрослыми. И к чему это ведет, если не к отвратительному эгоизму и к полному безразличию к интересам и нуждам других?»

С этим нельзя не согласиться. Забота о молодом поколении выражается у нас в том, что советское общество, как ни одно другое, предоставило возможность всем без исключения юношам и девушкам получить среднее образование, построило для них лучшие в мире стадионы, театры и концертные залы, дало им в руки сотни миллионов экземпляров книг, сосредоточенных в десятках тысяч библиотек и читален... Да можно ли перечесать все, чем по-настоящему богата



советская молодежь! Это и является выражением истинной заботы о молодом поколении — истинной, а не показной!

Но прав т. Виноградов — слишком у нас часты случаи бессмысленной опеки, скорее похожие на сентиментальное сюсюканье, чем на серьезную и дальновидную заботу о воспитании ребенка.

Попробуйте, например, одернуть на улице напраказившего юнца — в защиту его священной неприкосновенности немедленно встанут все прохожие. Я видел, как двенадцатилетний школьник, издеваясь над женщиной-дворником, назло ей пытался влезть на молоденькое деревцо. Кончилось, конечно, тем, что деревцо сломалось. Но видели бы вы, как набросились прохожие на эту женщину, когда она погналась за начинающим хулиганом, чтобы проучить его! Как ни странно, в глазах прохожих виновницей оказалась она, а мальчишка с видом победителя медленно пошел своей дорогой, сознавая свою полную неприкосновенность и понимая, что может безнаказанно продолжать свои «развлечения» в другом месте.

Правильно ли это? Думается, нет. Мне кажется, значительно вернее поступают там, где разрешают каждому взрослому человеку одернуть любого ребенка или юношу, если тот плохо ведет себя на улице. Трудно представить себе, чтобы в таких случаях со стороны старшего могла быть проявлена несправедливость. Но зато как это повысило бы чувство гражданской ответственности взрослых и каким сдерживающим началом явилось бы для детей!

Существуют две категории невоспитанных детей: избалованные и недосмотренные. Первые зачастую принадлежат обеспеченным родителям, не умеющим

их воспитывать, а иногда и попросту относящимся к ним безответственно; вторые ходят без присмотра, так как мать на работе и воспитывать их некому.

С обеспеченных родителей общество вправе требовать ответственности за воспитание детей по всей строгости закона. Матерям-одиночкам, единственным кормилицам семьи, надо помочь. Перестройка системы среднего образования многое в этом смысле изменит. Увеличивается количество школ с продленным днем, расширяется сеть школ-интернатов. Но мать остается матерью, и никто ее не может заменить ребенку.

«Давно известно,— пишет Н. В. Солодкова (Москва),— если отца нет, то еще ничего,.. а если нет матери, то ребенок считается сиротой.. А что толку, если она возвращается с работы, а ребенок спит! И так целую неделю, и так всю жизнь...»

Надо сказать, что матери подходят к решению этой важной проблемы как настоящие гражданки своей страны, которые горячо желают быть истинными воспитательницами своих детей, оставаясь в то же время максимально полезными и на своем производстве.

Все признают, что в интересах будущего поколения строителей коммунизма должна быть сокращена продолжительность рабочего дня для работницы-матери. В то же время многие проявляют беспокойство и о тех, которых «съел быт», то есть о женщинах, занимавшихся в свое время общественно полезным трудом, но вынужденных пожертвовать работой на производстве в интересах семьи и домашнего очага.

В нашей стране миллионы девушек получают высшее образование и становятся инженерами, врачами, педагогами. Они работают на заводах и в учреждениях, но многие из них, обзаведясь семьей, вынужде-

ны распрощаться с любимой работой. Оставление своей профессии, на приобретение которой государство истратило огромные средства, и «уход в быт» стали таким частым явлением, что многие руководители предприятий и учреждений стараются даже не брать на работу женщину инженера или врача, опасаясь, что, как только у нее появится ребенок, она бросит все и посвятит себя семье.

И надо сказать, что подобная «осторожность» имеет некоторые основания, так как согласовать в одном человеке мать и работницу бывает порой почти невозможно.

Стало быть, дело заключается в том, чтобы не только сократить рабочий день для работающей матери, но и создать условия для общественно полезного труда тем матерям, которые «утонули в быту», но мечтают о производственной или иной общественно полезной деятельности.

Естественно, что трудно найти сразу решение, которое удовлетворило бы всех, и поэтому стоило бы начать с тех, кому нужно помочь в первую очередь.

Следует, мне кажется, подумать о сокращении рабочей недели для женщин-матерей, мужа которых работают и в основном обеспечивают семью в материальном отношении. Делить время поровну между производством и семьей смогло бы большинство замужних женщин. Думается, что к неполной рабочей неделе на производстве или в учреждении вернулись бы и те, кто целиком отдались семье, но чувствуют себя оторванными от общественности, от коллектива, и поэтому морально ущемлены.

Я знаю, термин «неполная рабочая неделя» странно звучит для нашего уха. Мы привыкли к тому, что

такой формой загрузки рабочих пользуются лишь в капиталистических странах, где царит безработица и существует необходимость искусственно укорачивать рабочую неделю для одних, чтобы другим не дать пропасть с голоду. Но в нашей стране нет необходимости думать о безработных, так как у нас не существует и не может существовать безработицы. И если мы говорим о неполной рабочей неделе для женщин-матерей, то имеем в виду только тех, кого подобная форма удовлетворила бы в материальном отношении и кто сам на это согласился бы. Для тех же матерей, которые содержат семью сами и по соображениям материального характера не могут отказаться от ежедневной загрузки, можно было бы подумать о большем сокращении дня, нежели это предполагается в отношении мужчин. К тому же и начать такое сокращение стоило бы в первую очередь на тех производствах, где в основном работают женщины.

В обсуждении школьных проблем участвовали миллионы граждан. Вряд ли найдутся отец или мать, недовольные введением трудового воспитания, в результате которого их ребенок научится по-настоящему уважать труд да еще и приобретет хорошую профессию.

«Школа должна,— пишет А. Полякова (Казань),— не только давать общие знания, трудовые навыки и прививать необходимые этические нормы и правила поведения среди людей, но и овладевать сознанием юноши, отвечать на все его вопросы и запросы, удовлетворять его любознательность и даже любопытство, направляя мысли и стремления будущего строителя коммунистического общества. Педагог и школа не имеют права отделываться формальными отговорка-

ми даже от каверзных вопросов ученика и тем самым невольно заставляя его искать ответы за пределами школы».

Речь идет об ответственности педагога, о его призвании владеть умом и сердцем ребенка, о его умении изо дня в день формировать человеческий и гражданский облик.

В связи с этим хочется рассказать об одном случае, происшедшем в Киеве.

Не так давно из последнего класса художественной средней школы исключили одного из лучших учеников. Мотивировка исключения — «за художественную неспособность». Но достаточно перевернуть страничку документа, на котором значится столь убедительная формулировка, как вашему взору представляется длинный столбец пятерок и четверок по общеобразовательным и художественным дисциплинам, который изобличает дирекцию школы и убеждает в том, что ученик этот исключен отнюдь не за неуспеваемость.

Да и можно ли себе представить, чтобы юноша в течение десяти лет успешно переходил из класса в класс, нередко с похвальными грамотами, а в одиннадцатом (школа одиннадцатилетняя) вдруг обнаружил полную неспособность продолжать учение?! К тому же и неспособность такую вопиющую, которая заставила бы отделаться от него накануне выпуска из школы!

Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Ведь мальчика исключили не за хулиганство, не за моральное разложение. Наоборот, как подтверждают преподаватели, он — весьма начитанный и развитой ученик. Его любят и уважают одноклассники. Даже и теперь, после исключения из школы, они дружат с ним, сове-

туются по чисто художественным вопросам. Одним словом, он имел значительное влияние на свой класс, и, как выяснилось, в этом-то и заключается истинная причина исключения.

Стало быть, ярлык «художественной неспособности», избранный как совершенно неотразимое обоснование исключения, является обыкновенной ширмой, призванной прикрыть тот неоспоримый факт, что преподаватели потеряли власть над классом, ибо не сумели по-настоящему заинтересовать учеников. И этой властью завладел юноша, который много читал и думал, хотя, конечно, мысли его обычно были наивны, претенциозны, а сам он, как это бывает всегда в подобном возрасте, по-детски самонадеян.

Я вспомнил об этой истории не потому, что для восстановления справедливости в отношении этого ученика необходимо вмешательство печати. Да и случай-то сам по себе не столь характерный: не часто услышишь в наше время об исключении из школы выпускника. Меня встревожило то, что дело произошло не в обычной средней школе, а в художественной, где педагоги должны быть особенно тонки и проницательны — ведь их учениками являются будущие Левитаны и Суриковы!

Однако дирекция решила отыгаться на ученике. Уж чего бы, казалось, проще — уволить преподавателя, который оказался настолько несостоятельным, что его же собственный ученик стал «властителем дум» целого класса! Так нет же, устраняется способный ученик, но зато остается на месте несостоятельный преподаватель, который будет продолжать навевать скуку и уныние на юношей, пока они не найдут в своей среде нового «пророка»!

Конечно, школа является учреждением, где ученик проходит азы, приобретает основы общих и специальных знаний и здесь не место для самостоятельных открытий: ведь они невозможны без основательной подготовки. И действительно, смешно, когда этаким безусый мудрец с восхитительной детской самонадеянностью начинает ниспровергать основы и мнит себя открывателем научных и художественных истин. Но кто же из нас не мнил себя таковым?! Ведь самоуверенность является такой же характерной чертой юности, как трезвая рассудительность органически присуща зрелости. И вопрос заключается в том, чтобы овладеть сознанием ученика и доказать ему на опыте, что велосипед уже давно изобретен, а Америка открыта и что прежде, чем помышлять о самостоятельных изобретениях и открытиях, человеку следует об этом знать.

В данном случае произошло то, что нередко происходит во взаимоотношениях родителей с детьми: ребенок пристаёт с назойливыми вопросами, а тебе некогда или лень отвечать. Что ж, можно выставить его за дверь или сослаться на то, что, мол, «подрастешь, сам узнаешь». Но, право же, в подобных методах воспитания гораздо больше несостоятельности, нежели родительского глубокомыслия. Ведь ребенок все равно не останется без ответа на волнующий вопрос: если на него не ответит отец или школа, то он станет решать его сам или — еще хуже! — начнет искать ответ не там, где следует.

Есть, однако, и такие родители, которые, как ни странно, пытаются покрывать недостатки детей, прибегая при этом к весьма странным приемам. Так поступает Н. Фортунатов, о письме которого я обещал

упомянуть, хотя оно вступает в конфликт со всеми остальными высказываниями и поэтому не заслуживает особого внимания. Яростно осуждая меня за нетерпимость, с которой я отнесся к выпускникам 91-й школы г. Киева, разбудившим среди ночи сотни людей во время своего выпускного вечера, он восклицает: «...это прочно вошло в быт и стало как традицией, так и обычаем... Наверное, автор и не догадывается, что нарушители его покоя стали верными помощниками нашего общества».

Нет, тов. Фортунатов, автор ничего не забыл и обо всем догадывается. А вот привычка орать среди ночи на улицах возмутительна, и с нею следует бороться самым решительным образом. Во-первых, потому, что и «помощнику нашего общества» нельзя разрешать бесчинствовать и проявлять пренебрежение к покою таких же трудовых людей, как он сам; во-вторых, потому, что подобные «традиции и обычаи», «входя в быт», порождают в некоторых людях терпимость к грубости и невоспитанности, а это к добру не ведет.

Есть обычаи и традиции, которыми народ дорожит, ибо они человечны и благородны; но существуют еще в нашем быту и такие «традиции», которые совершенно несовместимы с нашими идеями и целями. Такие «традиции» надо искоренять.





### *Это касается всех*

**П**редседательствующий объявил приговор. Убийца Г. Романовский осужден к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

В зале царит тишина. Приговор справедлив, и осужденного никому не жаль. Но нестерпимо сознание, что холодным, бессердечным убийцей стал человек, которому лишь совсем недавно исполнилось восемна-

дцать лет... Молча, с неслыханным спокойствием он подошел к сделавшему ему замечание Р. Щеглову, лейтенанту авиации, и в парке, при всех перерезал ему горло бритвой.

Убийцы никому не жаль, но присутствующие на суде не в силах оторвать глаз от двух женщин, склонившихся в безмолвном горе в разных углах зала. Одна — мать убитого, другая — мать убийцы. Это матери двух молодых людей, которые только начали самостоятельно жить и, сделав первый шаг, так по-разному ушли из жизни...

# 1.

Вот как это произошло: вечером пять пареньков, из которых только Романовскому исполнилось восемнадцать лет, слонялись без дела по улицам Киева. На одной из них они заметили квартиру, в которой горел свет. В комнате никого не было. Расставив «посты», Романовский запустил руку сквозь отворенную форточку, открыл окно и забрался внутрь. Обобрав квартиру, грабители отправились к некой Бурковской — женщине без определенных занятий, — чтобы припрятать у нее награбленное. На следующий день вещи были проданы на Житнем базаре. Здесь же Романовский купил бритву, хотя никогда еще не брился. Кстати, бриться ею он и не собирался, так как тут же выбросил футляр и стал строгать веточку.

Вечером грабители вместе с Бурковской и ее подругой — гражданкой Скардой — напились в Первомайском саду. Видимо, парни уж слишком распоя-

сались, так как девицы решили воспользоваться темнотой и отделаться от них. Скарде это удалось: она скрылась в кустах, Бурковскую же настигли, швырнули на клумбу и начали избивать.

В этот момент в парке появились трое молодых людей. Видя, что рядом избивают женщину, они поспешили туда. Когда они приблизились к Романовскому и спросили, в чем дело, тот молча вынул из бокового кармана бритву и вместо объяснений полоснул по горлу лейтенанта Щеглова. Через несколько минут пострадавший скончался.

Таковы факты.

Многое в этом происшествии страшно. Страшно, что человек может молча подойти и неожиданно перерезать горло другому. Страшно, что он с заведомым умыслом купил бритву и деловито положил ее в боковой карман пиджака. Страшно, что ему восемнадцать лет — возраст, в котором обычно сочиняют стихи, конструируют модели самолетов и впервые влюбляются...

Но, может быть, Романовский вырос среди убийц, может, в своей короткой жизни он видел только кровавые примеры? Нет, его родители вполне приличные люди. Отец — начальник цеха одного из киевских заводов. Мать? Но какая же мать станет учить своего сына убивать людей?

Все ли, однако, было сделано семьей, школой, комсомолом для того, чтобы предотвратить страшную развязку? Нет. Правда, дирекция школы однажды попыталась воздействовать на хулигана и как-то написала в партийный комитет завода. Но товарищи из парткома даже не сочли необходимым сказать отцу об этом письме. Стоит ли, дескать, беспокоить коммуни-

ста и отрывать его от работы в цехе ради таких пустяков! Комсомол? Но когда будущего убийцу исключили из школы и отец устроил его на своем предприятии, заводской комитет комсомола даже не поинтересовался, почему парнишка в течение семи месяцев не становится на учет в заводской организации. Отец? Но когда год тому назад стало известно, что его несовершеннолетний сын вместе с четырьмя своими друзьями изнасиловал женщину, отец поспешил к пострадавшей, стал ее умолять, предложил ей деньги за то, чтобы она не возбуждала дела. И она смолчала.

Отец спас насильников. Теперь-то и ему, небось, ясно, что не сделай он этого тогда, и сын не стал бы убийцей, хотя и ответил бы за свое первое преступление по всей строгости закона.

Но дело было замято, престиж начальника цеха сохранен, заводской комитет ЛКСМУ отмахнулся от комсомольца, за поступки которого ему пришлось бы краснеть или даже нести ответственность.

Случай с Романовским, к сожалению, не единственный. Нельзя без гнева и возмущения относиться к подобным фактам, тем более, что подчас виновниками являются школьники, которые и учатся неплохо, и в семье на хорошем счету, но, попав на улицу, теряют человеческий облик...

## II

Недавно мне пришлось прочесть в одной из газет статью о хулиганстве среди молодежи. Автор привел три случая, которые кончились убийствами. В качестве

меры пресечения он предлагает устраивать побольше лекций для молодежи, выпускать красочные плакаты... Он считает, что нужны интересные комсомольские вечера, которые бы увлекали молодежь...

Все это, несомненно, верно, когда речь идет о воспитании нормального юноши или девушки. Молодежи, безусловно, нужны и романтика, и увлечение, и невинное веселье. Но смешно читать лекции верзиле, который спрятал в боковом кармане финку или бритву и по прихоти своей разнузданности и дикости пускает их в ход.

Душеспасительный плакат вряд ли заставит раскаяться хулигана. Куда действеннее отряды народной милиции, призванные создать общественную атмосферу, в которой хулиганство стало бы невозможным! Эти молодцы храбры лишь тогда, когда уверены в своей безнаказанности. Ведь хулиган надеется, что, услышав крик пострадавшего, прохожие испуганно отвернутся и сделают вид, что ничего не замечают, а милиционер завернет за угол, чтобы не быть вынужденным вмешаться. А надо, чтобы хулиган встречал отпор не только со стороны отдельных смельчаков, но и со стороны всех прохожих, всех пассажиров трамвая, всех зрителей, находящихся в этот момент в кинотеатре, против объединенных усилий которых хулиган — ничто.

Я как-то спросил продавца:

— Зачем вы продаете мальчишке папиросы?

— У меня план — мое дело выполнять его.

И вы можете увидеть на улице группу мальчишек и даже девчонок, которые ходят и раскуривают, пуская дым прохожим в лицо; делают они это с удалью,

залихватски, как бы хвастая своей разнузданностью перед всеми.

У продавца план, и под этой маркой он развращает мальцов. Но «план», оказывается, есть и у милиции, и этот «план» подчас заставляет милиционера отвернуться от уличного происшествия.

Как-то я подал заявление в городскую милицию о случившейся у меня краже. Прошло несколько месяцев, но никакого ответа на заявление не последовало. Я вторично обратился в управление милиции. Порывшись в столе, уполномоченный розыска ответил мне, что такого заявления вообще не поступало.

Возмущенный, я вышел на улицу. Тут ко мне подошел сердобольный милицейский работник и сказал:

— Видимо, вора не удалось найти, вот и выбросили в корзину ваше заявление...

— То есть как это выбросили?!

— Да ведь каждый неудачный розыск отражается на статистике. Ежели неудач много, отделение на плохом счету. Вот и приходится такие заявления... того... в корзину, чтобы пейзажа не портили.

Комментарии, как говорится, излишни! Такая форма «борьбы за выполнение плана», несомненно, своеобразна, но вряд ли можно усомниться, что при этом почет и выгода ставятся выше общественного спокойствия.

Неудивительно поэтому, что после раскрытия шайки, которая на улицах Киева отняла у прохожих двадцать с лишним штук часов, выяснилось, что ни один из пострадавших даже не стал заявлять в милицию об ограблении. Стоит ли? Все равно не найдут грабителей. Да еще и заявление швырнут в корзину, чтобы не портило блестящих показателей.

Как-то один знакомый рассказал мне о возмутительном случае, который произошел на его глазах в трамвае. В вагон вошел подвыпивший парень. Протолкнувшись вперед, он заметил у окна старушку, профиль которой ему почему-то не понравился. Парень заявил, что он не желает ехать с этой старушкой в одном вагоне и тут же стал выталкивать из трамвая старую женщину.

В вагоне было много людей, в том числе и несколько военных. Однако среди присутствующих не нашлось храбреца, который унял бы хулигана. Правда, проводница попыталась уговорить его, но, увидев в руках буйного пассажира нечто похожее на лезвие безопасной бритвы, сразу умолкла.

Узнав об этой истории, я позвонил дежурному городской милиции. Спрашиваю, чем кончилась эта дикая сцена. Дежурный отвечает: «Мне ничего не известно».

В трамвае милиционера не было, а из пассажиров никто не только не призвал хулигана к порядку, но даже не сообщил о случившемся. Дежурный искренне возмущался поведением пассажиров и был прав.

В самом деле — можно ли обвинять милицию в данном случае?

А вот другой пример: на уроках в 10-м классе одиннадцатой школы Киева стал появляться посторонний парень в кепочке с крохотным козырьком, в тельняшке, в сапожках и брюках напуском. Преподаватели заметили и самого парня, который к школе никакого отношения не имел, и его специфическую «хулиганскую форму». Парень вел себя вызывающе, мешал ученикам

во время уроков... Но ни классный руководитель, ни директор школы не заявили в милицию о странных посещениях.

Оказалось, что молодчик «приударивал» за одной из учениц и преследовал ее даже на уроках. Но когда соученик девушки возмутился этим, он немедленно стал жертвой финки разбойника.

Почему же молчали руководители школы?! Почему они трусливо терпели на уроках присутствие постороннего, к тому же подозрительного человека?!

Группа школьников, которая отнимала часы у прохожих, во всех двадцати двух случаях продала награбленные часы в скупочные пункты г. Киева. Все часы были женские, часто — дорогие. Приносили их несовершеннолетние мальчишки. Неужели работники государственного учреждения, каким является скупочный пункт, ни разу не обратили внимания на это обстоятельство? Однако они не заявили в милицию, хотя не могли не понимать, что школьник, продающий женские золотые часы, — явление по меньшей мере странное!

Но, возможно, и скупочные пункты имеют свой план, для выполнения которого все средства хороши?

Да, милиция порой работает плохо, но без помощи общественности и каждого отдельного гражданина она очень часто оказывается беспомощной. Но если спрашивать с милиции — наше право, то помогать ей — наш долг.

В некоторых городах в последнее время заведен такой порядок: выругался на улице — плати на месте пять рублей штрафа; задел прохожего — плати двадцать пять; надебоширил — сто рублей. В Кривом Роге, например, где до недавнего времени хулиганство на



улицах было нередким явлением, такая простая мера дала замечательные результаты.

В Киеве до войны существовал дежурный участок Народного суда, в который можно было привести хулигана в любое время дня и ночи, и его судили на месте, немедленно. Почему-то теперь этого участка нет. Но такой суд необходим. Должно существовать в городах место, куда можно всей улицей притащить хулигана для немедленного наказания. Такая мера, несомненно, усилила бы противодействие преступникам и умерила бы пыл самих преступников, особенно юнцов.

Горько говорить обо всем этом. Но нельзя и молчать. Дико и несуразно выглядит среди советских людей подвыпивший верзила в крохотной кепочке, с цигаркой в зубах, который идет в обнимку с таким же, как сам, заставляя всех с испугом и омерзением сторониться. Нужно окружить их гневом общественности и дать почувствовать на себе всю силу и суровость советских законов.



## *Обыкновенная история*

**П**ередо мною двое — он и она.

Он — Сергей Иванович — светлоголовый человек невысокого роста, лет пятидесяти двух. Она — Евдокия Петровна — помоложе, да и моложе: на вид ей не больше сорока, хотя в действительности куда больше. Худошавая, с чуть бледным продолговатым лицом, с огромными темными глазами... Сейчас эти глаза выражают не то смущение, не то за-

таенный испуг — не потому ли ее лицо выглядит еще моложе обычного?

Эти люди вот уже больше четверти века любят друг друга. Их заботливая нежность — не следствие привычки, выработанной многолетней близостью. Их ласковость — не от природной мягкости характера, да и не такого они мягкого нрава, особенно она.

Эти люди просто любят друг друга. Посмотришь со стороны — и сразу видно, что живут они глубоко и полно, и чувства их ничем не напоминают мещанской умиротворенности двух воркующих голубков.

Я познакомился с ними случайно; по дороге в Киев оказался в одном купе с Сергеем Ивановичем. Ну, ясное дело — дорога сближает. Выяснилось, что он железнодорожник — мастер по ремонту паровозов, а сейчас ездил в командировку и спешит домой — сын должен приехать из Тулы на праздник.

Выходя из вагона, Сергей Иванович сказал:

— А то заходите, а? Мы люди простые. И жена обрадуется — она у меня хорошая.

В его словах как будто и особой настойчивости не было. Пригласил, ну разве так, из вежливости. Но так он произнес это слово «хорошая», столько в нем звучало искренности, что, приехав домой, я решил их обязательно навестить. Мне просто хотелось посмотреть на Евдокию Петровну — женщину, столько перенесшую, столько выстрадавшую и спасенную любовью такого же простого и честного человека, как сама.

Они встретились при обстоятельствах необычных: она хотела покончить жизнь самоубийством, и Сергей Иванович спас ее. Произошло это случайно — он обходил свой участок пути и вдруг увидел на рельсах

неподвижно лежащего человека. Поезд был уже совсем близко. За спиной слышался нарастающий гул.

Сергей Иванович, которого тогда еще просто называли Сережей, побежал вперед. До человека, лежавшего ничком, было шагов полтора. Обходчик ничего не сознавал, кроме одного: кто там на рельсах лежит, что с ним случилось?

Когда Сергей схватил на руки хрупкое, почти невесомое тело девушки, он был так слаб от волнения, что не мог двинуться с места. Поезд дышал уже близко, но не настолько, чтобы опасаться. Сергей сделал несколько шагов в сторону поля и упал. Девушка открыла глаза, посмотрела на своего спасителя долгим внимательным взглядом и прошептала:

— Не хочу жить, не могу...— и рванулась из его рук с такой силой, что он еле удержал ее.

— Да ты что,— крикнул Сергей,— ошалела?

Его голос прозвучал так властно, что девушка пришла в себя. Она смотрела на странного, неизвестно откуда взявшегося парня своими большими, испуганными глазами. Поезд прогремел совсем рядом и, когда грохот улегся, девушка покорно склонила голову и тихо, безысходно заплакала.

Они сидели вдвоем на свежей траве. Сергей не пытался ее успокаивать — понимал, что не по доброй воле человек ложится на рельсы. К тому же и человек-то совсем молодой, лет девятнадцати-двадцати, не больше.

Девушка долго плакала, а он молча смотрел на ее вздрагивавшие худенькие плечи, на ее выгоревшую ситцевую кофточку, на плохо заплетенную русую косу... Его мучило не любопытство, а горячее юношеское сочувствие.

Потом она поднялась и тихо сказала:

— Пойду...

Она не пошла, а побежала в сторону хутора, побежала без оглядки, будто ей стыдно было чего-то — может быть, своего малодушия, может быть, слез.

О том, кто она и почему решила умереть, Сергей узнал через неделю. Ему не давала покоя эта девушка; хотелось узнать, что с ней, кто она. А знал он только, что ушла она в направлении хутора и что, видно, беда ее велика. Но если она легла на рельсы раз, то не испробует ли вторично?..

Парень сам не замечал, как девушка входила в его сознание, овладевала его мыслями, воображением. Теперь он понимал, что должен найти ее, должен увидеть, не может жить без этого.

И он ее нашел.

Была осень 1928 года. Кулачье, потревоженное в семнадцатом, понемногу пришло в себя. Былая наглость возвращалась к чубатым хуторским парням по мере того, как в памяти сглаживались картины революции. Многим думалось, что так-то оно и пойдет — беднота получила свой надел, а уж о большем ей и мечтать не захочется. Хуторские богачи набрали исполу бедняцкой земли, сколачивали крепкие хозяйства, обзаводились инвентарем... Затруднения были только с батраками: за рабочего человека заступилась советская власть, его ограждал закон от эксплуатации и обмана. А уж какой это для кулака работник, если на него надо договор с профсоюзом заключать, а по договору установлена оплата и главное — продолжительность рабочего дня!

Мироодам приходилось изворачиваться. Кто похитрее — собирал на подворье бедных родственников, за-

должавших ссудоимцев. Иные находили и более коварные способы заставить человека работать за кусок хлеба от зари до зари.

У хуторского кулака и жила эта девушка. Как выяснил Сергей, ее звали Дуней. Она попала к кулаку совсем маленькой — в девятнадцатом году, когда мать на поле уложило махновским снарядом. Отца не было — он не вернулся с галицийских полей войны. Когда останки женщины привезли в хутор, кулак при народе «сжалился» над сиротой и увез Дуню к себе; он понимал, что в будущем с наемными батраками будет еще труднее.

Можно написать целую книгу о том, как довел он девушку до страшного решения умереть и покончить с унижительной рабской жизнью; как появился парень с железнодорожного разъезда, у которого были товарищи, была семья и который пришел к ней не только с дружбой, но и с гневом против ее угнетателя; как постепенно они начали любить друг друга и когда поняли, что эта любовь навсегда, он увел девушку к своим родителям, а потом бежал в город Кировоград от мести кулака; как по ночам сидели они рядом над букварем и парень учил девушку грамоте, все шире и шире открывая ей глаза на новый прекрасный и радостный мир... Много произошло в их скромной жизни поистине драматических событий, много по-настоящему трогательного. Но главным было то, что в двух молодых сердцах родилась любовь — настоящая, чистая и преданная любовь, которая оказалась крепче всех испытаний, всех горестей и трудностей, всего, что так или иначе пыталось ее сломить.

Мы часто слышим о чувствах, объединяющих людей — о товариществе, которое помогло бойцам побе-

доть врага в рукопашной схватке, о соревновании подруг, самоотверженно борющихся за урожай на двух соседних участках колхозного поля; о переписке известных токарей, никогда не видевших друг друга, но ставших истинными братьями потому, что они по-братски поделились опытом своего труда на благо своего народа... Честные, светлые и благородные чувства! Но почему-то мы так редко и стыдливо говорим о любви двух людей, любви, которая окрыляет и делает счастливыми, и, наконец, одаряет мир новыми человеческими жизнями. Мы почти безразличны к длинным спискам фамилий, напечатанным в газетах и сообщающим о том, что такой-то, проживающий там-то, вызывает в нарсуд для развода такую-то, проживающую там-то... Мы читаем и часто даже не замечаем, что невольно проходим мимо несчастья или позора двух людей... Но о них мы по крайней мере хоть узнаем!

А о тех, чьи сердца в течение долгих десятилетий согревали друг друга, поддерживали и вдохновляли, — о них мы даже никогда ничего не слышим. Их много, это верно. И может быть, это не особая доблесть — любить друг друга: ведь именно так и должно быть! Но об этом надо говорить, необходимо рассказывать. Пусть каждый пример любви сократит хотя бы на одну строчку тяжкий список разлук и несчастий — что ж, и в таком случае стоит о нем рассказывать.

Ну, а если этот пример и не образумит никого, ведь он и сам по себе достоин слова. Этих-то двоих любовь сделала такими чистыми и честными! Их дети — Коля, Миша и Аллочка — ведь они не уйдут в мир без великого нравственного наследства, которое, может быть, и их сделает счастливыми. Аллочка еще школьница —

она не понимает многого, но ведь она не может не чувствовать, что в их доме по-особому тепло и светло.

Они жили мирно и счастливо долгих двенадцать лет. Сергей Иванович не помнит минуты, когда бы он, оторвавшись от работы, не подумал о жене. Службу приходилось менять не раз — путевой обходчик на далеком полустанке стал механиком по ремонту паровозов, затем машинистом, затем снова перешел в депо. Но где бы его ни заставляла свободная минута, он всегда вспоминал о Дуне. Случались целые недели, на протяжении которых он не бывал дома. Но каждое воспоминание о ней было ожиданием встречи. Вспомнит — и хочется скорее увидеть. Освободится — и быстрее туда, где она. И от этого чувства всегда обострялись, они всегда были свежи, новы. Ни разу в жизни не подумал он о ней просто так, словно о чем-то привычном.

Только один раз в жизни пришлось им расстаться на целых четыре года. Началась война. Ничто другое не могло бы их так далеко отбросить друг от друга. Сергей Иванович не знал, где Дуня с двумя мальчиками; ему было известно только, что они эвакуировались на Восток. Но куда? Он написал с фронта сотни писем во все концы огромной страны, он обращался к множеству знакомых, живших на востоке... Никто ничего не знал о его семье. И когда Сергей Иванович теперь рассказывает о том, что разрывало его сердце в те горестные годы, начинаешь понимать, почему слова бывают бессильны и не могут выразить многого...

Он не сомневался в том, что его семье не дадут умереть с голоду: везде есть добрые люди, они помогут. Да и жена — она справится с любыми трудностями.



ми и спасет себя и его детей. Не такой она человек, чтобы согнуться! Вся ее прежняя жизнь была тому порукой. И худенькая женщина с огромными испуганными глазами оказалась сильной. Ведь она не знала, вернется ли с войны ее Сергей Иванович. Если нет, то отныне семья на ее руках. И женщина не только работала, но и пошла в дорожный техникум. Днем — в депо, ночью — за партой. Через три года она окончила курс и приобрела высокую квалификацию. Это была уже совсем не та робкая девушка, которую Сергей Иванович подобрал когда-то на рельсах. Теперь к ее словам прислушивались опытные рабочие. Ее совет высоко ценили, за него были благодарны от души. Она впервые стала человеком общественного долга. И, если бы не надежда найти мужа, никогда бы она не оставила городок на Востоке, где сделалась такой нужной, такой необходимой, где заслужила столько уважения своим честным трудом.

Он нашел ее только в сорок третьем: на всякий случай написал в Киев по своему домашнему адресу и получил ответ. Это письмо лежит сейчас передо мной — в нем сорок восемь страниц, исписанных мелким нервным почерком. Это не письмо, а конспект огромного романа. С каждой страницы дышит воля простой советской женщины, в которой народное горе пробудило удивительные силы к сопротивлению. Твердость души дала ей возможность выстоять, спасти детей и дожидаться победы. Сейчас письмо это хранится у Сергея Ивановича как память о горестях и радостях его семьи. Но для нас оно не семейная реликвия: в нем нарисован образ одной из миллионов советских женщин и матерей в счастливейшую минуту их жизни — когда самое страшное осталось позади.

И началась новая жизнь. Родилась дочь. Сыновья подросли — один ушел в военное училище, второй — в строительный институт. Этот второй, Миша, часто посмеивался, когда, возвратясь ночью домой, заставал родителей склонившимися над книгой. Теперь уже мать учила отца. Теперь она знала куда больше своего мужа, и он принимал ее помощь без всякого смущения. Самолюбие не страдает, когда учителем становится любимый человек. Сергей Иванович принимал теперь помощь жены так же просто, как приняла ее от него она сама в прежние далекие годы...

...Я пишу эти строки и думаю о том, что почувствуют они, прочитав их, — смутятся или обидятся? Ведь люди мне доверили свою жизнь не для того, чтобы я сделал их чувства достоянием других. А мне жаль, что ко всему рассказанному я не могу добавить их настоящей фамилии, указать улицу и номер дома, в котором они живут.

Впрочем, мало ли в нашем городе счастливых людей! Пусть каждый из них думает, что эта обыкновенная история списана с его жизни...



# СЕРДЦЕ ШОПЕНА



## *Дума о песне*

**З**а шумной ярмарочной площади или в прохладной тени кудрявого клена у пыльного сельского перекрестка сидит на камне седой человек. Плавнo двигаются пальцы по звенящим струнам его кобзы, высоко забирает немолодой, но еще крепкий голос, внимательно и, кажется, даже испытующе устремились на людей темные невидящие глаза. Люди слу-

шают, затаив дыхание; крепко уцепившись за подолы своих матерей, приумолкли ребятишки; сняв соломенные брили, глубоко задумались старики, увлеченные кобзарской песней... Они давно знают поющего человека и поэтому верят каждому его слову — каждый звук мелодичной песни находит отзвук в их сердцах.

Это поет Павло Носач, человек, проживший большую и тяжелую жизнь. Он хорошо знает то, о чем рассказывает людям в своих песнях. Он ничего не сочиняет — все за него сочинила жизнь. Если песня грустна, то потому, что она вызвана горьким и безрадостным воспоминанием; если песня его весела, значит она рождена душевной мощью и врожденной способностью этого человека смеяться над бедой. О чем бы ни пелось в песне, за ней всегда стоит пережитое, освещенное душевной силой гордого и непокорного человека.

Странное дело — есть еще у нас люди, которые даже и теперь не решили, в чем главное назначение искусства. А вот этот седой и невидящий человек поет с такой уверенностью, будто он давно уже все решил и отлично знает, почему обступившие его простые люди внимают песне с таким душевным волнением.

В чем, собственно, заключается его искусство? Не в том ли, что он лишь возвращает людям взятое у них? Он только чуть-чуть осветил их мечты и надежды светом собственных дум и стремлений, и этого оказалось достаточно, чтобы завладеть вниманием и памятью слушателей.

Наш народ издавна любил своих кобзарей и лириков, бандуристов и певчих слепцов. Они никогда не боялись говорить правду, ибо терять им было нечего: они все извели и все потеряли, и гнев полицейского

им был не страшен. От них человек мог услышать то, о чем втайне думал сам — о желанной воле, о былой славе героев. Они говорили смело, никого и ничего не страшась, и за смелую прямоу и окрыленность любил их народ, закованный в кандалы на протяжении столетий.

Кое-кто утверждает, что народные кобзари и бандуристы отжили свой век, что новые времена, мол, требуют новых форм выражения человеческих чувств и мыслей. Но почему же и сейчас люди с такой радостью слушают захожих кобзарей, когда они появляются у полевого стана или на сельской улице? Рядом с песней о былых сражениях за волю народную появилась у них песня и о самой воле, завоеванной и взлелеянной народом. И эта новая песня так же близка нынешним слушателям, как некогда их отцам и дедам был близок плач и стон слепого трубадура о горькой судьбине трудового человека.

Нет, не устарели, не отжили свой век кобзари! Они плакали, когда плакал народ; они воспели человеческие надежды, когда настало время надежд; их судьба была и осталась воплощением судьбы их народа. Вот почему и песни их любили, любят и будут любить всегда.

И невольно думается: какую ясность может внести их многовековой опыт в наши споры о назначении и призвании искусства! Ведь их песни и сама их жизнь могут стать настоящими судьями в этом затянувшемся споре, который так странно звучит в устах людей, вышедших из народа, чтобы служить ему.

Павло Носач не помнит своих родителей: они умерли, когда он был еще ребенком. С ним остались два старших брата и чуть побольше двух десятин тошей

тарашанской земли на троих. Сначала мальчика приютила тетка, но когда и детский рот стал ей в тягость, Павла отдали в работники. Так он с самой ранней юности пошел по дворам, по конюшням, по кухонным закоулкам, где и началась для него тяжкая школа унижения и проклятия — путь, политый детскими слезами и потом.

В те далекие времена никого не удивляло, если хозяин ударит своего наемного мальчишку или забудет его покормить. Как и многие, Павло ко всему привык. И самое тяжелое началось для него позже, когда, еще будучи парнем, он явился к братьям за своей долей отцовского наследства. Он вдруг обнаружил, что земля превратила в зверя даже брата, — она сунула тому в руки топор и заставила поднять обух против самого близкого человека, на стороне которого были, к тому же, право и закон. Братья не пустили его в отцовский дом, они не дали ему куска хлеба, хотя пользовались его землей столько времени... Невольно вспоминаются потрясающие картины, нарисованные Ольгой Кобылянской, когда слушаешь рассказ о том, с какими страшными воплями гнались они с топорами в руках за родным братом, пока, убегая через плетни и огороды, тот не исчез в ночном поле.

Нашим детям это может показаться невероятным. Привыкшие к бескрайним пшеничным массивам, они не знают, сколько страстной ненависти и тупого озлобления способен был вызвать в людях никчемный клочок тощего песчаника в былые времена. Да и сама-то ненависть, само озлобление чужды и непонятны нашим детям. Но в темных глазах кобзаря еще и теперь закипают слезы, когда он вспоминает о том проклятом дне. Теперь он понимает: его братьев превратило в зве-

рей не только их собственное бессердечие и несправедливость, в руки им дал топор звериный закон общества, который гласил, что выживает только сильный. Этот закон предоставлял возможность человеку быть сытым только за счет других, и поэтому так часто подымал отца против сына, а брата против сестры.

Если человек теряет глаза, то в душе его открываются иные, невидимые окна, сквозь которые так или иначе к его сознанию проникает сияние окружающего мира. Исчезает зрение, но в целости остается тонкая ниточка, как бы соединяющая его сердце с солнечным светом. Все органы, воспринимающие звуки, ощущения, чувства, становятся стеной на борьбу с наступающим мраком и побеждают его. Не похоже ли это на то, что происходит с человеком, у которого зло и обман пытаются отнять веру в справедливость, веру в людей и их моральную чистоту? Лгуны стараются убедить его в том, что мир лжив; обманщики доказывают, что ничего нет святого, кроме обмана. Но человек по природе своей расположен к восприятию чистого и светлого, и если темная сила пытается убить это естественное предрасположение, то, как правило, он оказывается подготовленным к защите.

Первые горькие разочарования и обиды не ожесточили и сердце будущего кобзаря. Молодое и, казалось, легко ранимое, оно не наполнилось злобой и презрением к людям. Несправедливость родных братьев не родила ответной несправедливости. Их жестокий поступок вызвал только потребность рассказать о ней людям, поделиться с ними горечью, которую он познал, живя среди них. Так родилась первая песня, и если она полюбилась людям, то лишь потому, что каждый из них пережил когда-то подобное и наверняка мог бы



и сам сложить ее, если бы у него нашлись слова и мелодии, а главное — если бы хватило мужества.

Говоря об этом человеке, невольно начинаешь думать и о родившей его стране — об Украине. Как далеко ушла она от себя самой, разделенной на убогие, исцарапанные сохами полосы, лишенной возможности пользоваться богатствами своих недр и рек, усеянной утлыми хатками, крытыми сгнившей ржаной соломой! Нет, недаром так трагичны и полны стона и слез думы Тараса Шевченко и Остапа Вересая! Как и этих великих певцов, Украину пытались лишить света, и к ее сердцу старались закрыть доступ всего прекрасного; и ее окружали ложью и злобой, стремясь ожесточить и вызвать отвращение ко всему человеческому. Как над поющим кобзарем, стояла и над Украиной мрачная и угрожающая тень жандарма, когда она пыталась петь или говорить о своих думах и страданиях.

Но то, что не удается даже в отношении отдельного человека, невозможно сделать с целой страной. И когда наступило время стать в одну шеренгу с другими народами, чтобы преобразить мир на революционной основе, Украина оказалась сильной и великой их спутницей, сохранившей яркий свет своей души, самобытность и чистоту своего гения. Ей не пришлось начинать сначала, ибо в многовековой борьбе она сумела свято сберечь все богатство своей глубоко демократической и человеческой культуры, всю неизмеримость своих моральных и физических сил.

Можно ли сказать о слепом человеке, что в глазах у него зажигается огонек или пробегает тень, когда он вспоминает былое? Но странно — смотришь на мужественное и выразительное лицо Павла Носача и совершенно забываешь, что под его темными очками нет

глаз. Он рассказывает о революции, о гражданской войне, он поет о Щорсе и Котовском, о великих победах трудовых людей, и кажется, что все это он видел, во всем этом принимал участие... Просто не укладывается в сознании, что войны батяня Боженко шли по полям битв без него. Не верится, что песни эти вдохновлены уже совершенными подвигами, кажется, что сами они являются непосредственными и деятельными вдохновителями. Они настолько достоверны, так убедительны, будто творил их человек, сидя в седле и держа в одной и той же руке винтовку и кобзу. Такому впечатлению, конечно, способствует весь облик кобзаря — творческий и жизненный. Песни его неотделимы от воспеваемых им народных событий, как неотделима от них вся его тяжелая и долгая жизнь.

Часто приходится в наше время слушать и читать беспомощные подделки «под народ», фальшивые стилизации «под старинку». Некоторым нашим поэтам кажется, что достаточно употребить архаическое словцо или начать с традиционного запева думы, чтобы произведение приобрело национальный колорит и стало народным. Нет, стилизация не искусство! Новые события рождали новые слова и мелодии, и тот, кто хочет одеть строителя Каховской ГЭС в потертую серую свитку или в валяный суконный кобеняк, просто смешон и жалок.

В этом особенно явственно убеждаешься, когда слушаешь старых наших кобзарей — таких, как Егор Мовчан или Павло Носач. Как изменился их словарь, как преобразился весь строй и даже самый жанр их песен с тех пор, как в них вошли Днепрогэс и Донбасс, Отечественная война и тема послевоенного мира! Кажется невероятным, что такими гибкими в отноше-

нии чувства нового стали именно они — седовласые старцы, над сознанием которых, казалось бы, должна особенно тяготеть их собственная традиция.

Как это случилось? Почему?

И снова вспоминаются первые песни этих певцов, в которых они еще не воспевали героев и не призывали к бою, а только жаловались народу на собственную судьбу. Контакт устанавливался сразу. Кобзарь начинал ощущать живую связь с чувствами окружающих его людей, почти физическое единство с ними. Это рождало в нем необыкновенную уверенность, удесятеляло его душевные силы, и вместо стонов и жалоб в песнях появлялся гнев и смех — чувства, которыми были полны его молчаливые и внимательные слушатели. Шаг за шагом шли эти певцы вместе со своим народом, их чуткое поэтическое ухо улавливало тончайшие изменения в психике и настроении массы, рождавшиеся под влиянием революции, войны и мира. Они не могли отстать от всеобщего движения, так как всегда находились в самом водовороте, и новые мысли и надежды были воздухом, которым им приходилось дышать. Отсюда их народность. Отжившие и обветшалые слова и образы, связанные с понятиями, отмирающими и уходящими в прошлое, выпадали из их поэтического сознания так же естественно и незаметно, как входили в него новые слова и понятия, рожденные новыми обстоятельствами. Вот почему и сейчас, слушая старого кобзаря, каждый трудовой человек, должно быть, думает, что и он, видимо, смог бы сложить эту песню, да вот жаль только, что... она уже сложена кобзарем.

Возможно, найдутся люди, которые заподозрят меня в упрощенчестве. Творческий процесс-де индивидуа-

лен, скажут они, да и можно ли ставить в пример сложной и разнообразной современной культуре хотя и милые, но весьма несложные примитивы народных мастеров. Но я говорю не о поэтических жанрах, а о жизни поэтов; не о форме стихов, а о единстве с народом ради служения его справедливым и поэтому святым идеалам.

Как-то я спросил Павла Носача:

— Вот, ходили вы по украинским селам во время оккупации, пели думы свои, призывали народ к борьбе... Как же вам это гитлеровцы позволяли делать?!

— Недооценивал Гитлер песню,— улыбнулся он в ответ.— Бывало, фашист только сапогом толкнет меня в бок и проходит мимо... Слепой, мол, не воин!

И припомнились мне кобзари времен Богдана Хмельницкого, которых он рассылал по городам и селам Украины подымать народ на борьбу, когда угрожала стране опасность. Он-то оценивал песню по достоинству! Он знал хорошо, что никому так народ не поверит, как кобзарю, ибо певец никогда не солжет и не обманет.

Это знает народ наш и ныне. Он и сам по природе певуч и поэтому верит своим певцам и поэтам, когда в канун праздника или битвы они приходят, чтобы призвать его или порадовать песней.



## *О народности в эпоху спутников*

**П**еред мольбертом в крохотной мастерской украинского художника В. Овчинникова в половинах выбита глубокая яма. Ее вытоптали ноги художника за семь лет, в течение которых он изо дня в день работал над большой и сложной серией картин.

Теперь эта серия закончена. Она называется «Искры — пламя». О ней можно многое сказать. На три-

дцати полотнах изображена история Днепро-дзержинского металлургического завода от основания города запорожским казаком Камеоном до героических лет революции включительно. Перед посетителями нового прекрасного выставочного зала, сооруженного в Киеве, разворачивается суровая эпопея зарождения, становления и борьбы рабочих Приднепровья, целая галерея образов рабочих людей, любовно и проникновенно созданных кистью художника.

Я не собираюсь вдаваться в разбор многочисленных композиций, художественных средств изображения и прочих специфических вопросов живописи Василия Овчинникова. Его картины производят сильное впечатление и, по общему единодушному мнению всех писавших о них, являются важным и интересным событием в современном украинском искусстве. Мне хочется лишь высказать по поводу этих картин некоторые мысли, представляющиеся мне важными не только для нашего изобразительного искусства, но и для литературы.

В. Овчинников — потомственный рабочий Днепро-дзержинского завода. Здесь работал его отец, здесь родился и вырос художник. Кокусница, изображенная на одноименном полотне, — это его мать; школьник, стоящий на коленях перед пьяненьким дьячком на уроке закона божьего, — это сам Овчинников. Он, несомненно, имел в виду себя и тогда, когда изображал двух рабочих подростков, пришедших в воскресный день к мастеру со своим первым магарычом. Да и остальные картины автобиографичны в том смысле, что вся борьба рабочих Днепро-дзержинского завода за революцию проходила на его глазах, а первые этапы становления — и с участием самого художника.

История возникновения этой серии весьма поучительна. В 1928 году, видя интерес паренька к рисованию, рабочие решили послать его учиться. Он стал художником, директором музея западного и восточного искусства в Киеве. Прошли годы, и, размышляя над своей собственной судьбой, художник решил воспеть тех, кто дал ему возможность стать творцом.

Так родилась серия картин «Из искры — пламя».

Мне кажется, что выставка В. Овчинникова является собой яркий и законченный пример того, как должен каждый советский художник и писатель отвечать своим творчеством на щедрость и доброту народа. Чувство благодарности само по себе прекрасно, если оно относится даже к отдельному человеку. Но благодарность среде, воспитавшей и вскормившей тебя, — это великий и святой долг, которому мы обязаны посвятить всю жизнь и все свое творчество.

Выставка, однако, замечательна не только этим. Можно смело сказать, что с нею в наше искусство серьезно и решительно вступает большая тема. Конечно, было бы неверно утверждать, что до сих пор в украинской живописи отсутствовал рабочий класс. Были отдельные картины, порой значительные и запоминающиеся. Но таким широким фронтом картины заводской жизни еще никогда не прорывались сквозь частый строй сельских пейзажей и цветистых натюрмортов, и это мне кажется весьма знаменательным. Как жаль, что в украинской литературе эта важнейшая тема еще не получила такого же мощного разворота! Я хочу быть правильно понятым: есть отдельные хорошие книги, есть интересные поэмы и стихи... Но нет еще настоящей попытки осмыслить важнейшую для Украины тему в широких эпических полотнах, в которых вопло-

тилось бы истинное понимание глубочайших изменений в самом характере украинского народа, происшедших на наших глазах в течение последних десятилетий.

Надо сказать, что с рабочей темой у нас происходят весьма странные вещи. О ней много говорят. Необходимость поворота к ней декларируется давно и охотно. Но когда дело доходит до самих книг, то, как ни странно, они частенько встречают прохладный прием. Об одних критика умалчивает вообще, к другим она предъявляет особую «завышенную» требовательность, мотивируя свою подчас неоправданную суровость ответственностью самой темы... Конечно же, было бы неверно делать скидки и поблажки во имя подобной ответственности, но факты показывают, что такая исключительная требовательность иногда уж очень похожа на стремление завуалировать при помощи громких фраз некие искусственные рогатки. Практически такая исключительная требовательность сводится к тому, что, например, романы А. Гуреева, В. Торина, В. Собко встречены некоторыми критиками весьма недоброжелательно, хотя рядом с недостатками эти книги имеют и свои бесспорные достоинства. И разве не показательно, что о краснодонских стихах и поэме «Хозяин шахты» Миколы Упеника, как и о ряде книг поэтов Донбасса, ничего не было сказано даже в докладе на недавнем всеукраинском совещании, специально посвященном вопросам поэзии?.. Подобных фактов много, и они поневоле из количества переходят в качество.

То же самое произошло и с выставкой картин В. Овчинникова. В течение целого года лежала она, сваленная в тесной мастерской художника. Затем началась настоящая борьба за выставку. В газетах и журналах



уже печатались многочисленные статьи об этих полотнах, а художник никак не мог затащить кого-нибудь из работников Министерства культуры в свою мастерскую, чтобы, наконец, решить судьбу огромного семилетнего труда. Выставки не показали ни к сорокалетию Советской власти, ни к сорокалетию Коммунистической партии Украины, хотя по своему характеру и идейно-художественному уровню она должна была быть выставлена именно к этим знаменательным датам.

Наконец картины развесили и напечатали приглашения на персональную выставку... Но выставка все же и на этот раз не была открыта, пока ее не объединили с двумя другими — по-своему очень хорошими — выставками пейзажей.

Мне меньше всего хочется искать виновных в желании во что бы то ни стало утопить важную тему в ярком и прекрасном море пейзажей и натюрмортов. Вероятно, все это делалось без злого умысла. Но причины подобного непонимания важности рабочей темы, несомненно, имеются и хочется их понять.

Год тому назад мне пришлось ехать вверх по Днепру мимо Днепродзержинска и Днепропетровска. Дело было ночью. Давно уже пробили по радио полночь кремлевские куранты, но никто из пассажиров не уходил в каюты. Палубы прекрасного парохода «Шевченко» заполнились людьми, любовавшимися незабываемым зрелищем и, как мне показалось, поглощенными одной и той же мыслью.

Днепр на десятки километров был залит багровым пламенем. Казалось, что пароход плывет по морю раскаленной лавы. На обоих берегах пылали домны и мартены, окрашивая Днепр и весь небосвод в краски и

цвета, совершенно новые для традиционного представления об этой реке и об этом небе... Я ехал уже не впервые по этому пути, но никогда еще не был здесь ночью. И, может быть, именно поэтому необыкновенное и огромное пылание, охватившее все вокруг, потрясло меня своим удивительным величием и многозначительностью.

Образ Днепра стал уже давно поэтическим символом Украины. Каждый школьник знает песни 'о великой реке, созданные народом и нашими национальными поэтами. С удивительной проникновенностью и поэтичностью воспеты ее крутые и зеленые берега, мощь и синева стремительного течения, дикость и необузданность былых порогов... Но как разительны перемены, которые, как мне показалось, захватили воображение всех, кто стоял на палубе в эту ночь! Глядя на невоспетое пламя, зажегшее воды Днепра, люди, мне кажется, думали не только о нашей любимой реке, но и о всей стране, охваченной таким же великим и прекрасным заревом.

Я вспомнил о своем ночном путешествии мимо Днепропетровска не для того, чтобы доказывать, что «Украина уже не та». Кто в наше время не знает, что такие же зарева пылают и над Кривым Рогом, и над Никоподем, и над Луганском, и над Сталино... Да мало ли еще можно назвать городов! Кому, например, не известно, что Украина еще в 1957 году по производству чугуна на душу населения опередила все капиталистические страны мира — в том числе и США!

Но странно — зная факты, кое-кто решительно отказывается делать из них выводы. Видимо, традиция уж больно живуча. И в сознании некоторых поэтов и художников эмоциональный образ Украины до сих пор

еще пребывает в сфере деревенской стихии. Я говорю деревенской, а не колхозной, и делаю это вполне сознательно: ведь и колхозников у нас нередко стилизуют под колоритных гоголевских мужичков. Похоже на то, что, обессмертив Солопия Черевика и Корния Чуба, великий писатель отбил у некоторых потомков способность ощущать движение времени и реальность исторических событий.

Недавно один критик заявил на заседании президиума СП Украины, что он-де гордится своей принадлежностью к «мужикам», которые, по его мнению, составляют 80 процентов народа и кормят всю страну. Не говоря о том, что подобная цифра совершенно произвольна (согласно недавней переписи, сельское население на Украине составляет 52%), само слово «мужик» звучит довольно дико в применении к современному колхознику.

Да и можно ли разделять народ и делать предметом особой гордости свою принадлежность к одной из его частей, невольно оскорбляя таким образом все остальные? Ведь среди них находится и та часть народа, которую еще сто лет тому назад Маркс называл руководящей силой, хотя тогда она действительно составляла ничтожный процент.

Нет, народ неделим. Народ — это сложный, разносторонний и многогранный комплекс. И тысячу раз был прав Белинский, когда называл певца русской деревни А. Кольцова «односторонним» именно потому, что тот считал народом лишь часть народа. Великий критик ставил куда выше «Горе от ума» и «Героя нашего времени», отобразивших, по его мнению, более широко национальный дух тогдашней России, хотя в этих произведениях, как известно, не часто фигури-

руют крестьяне, составлявшие в то время подавляющее большинство населения в стране.

Что же говорить о советском народе, который даже по формальным признакам разделить невозможно, так как и колхозники, и рабочие, и интеллигенты происходят от единого социального корня! Попробуйте отыскать хоть одну сельскую семью на советской земле, в которой сын или дочь не были бы инженером, агрономом или врачом, а ближайший родственник офицером или заводским рабочим! Да и сами-то колхозники — комбайнеры, трактористы, шоферы — разве они во многих отношениях не сродни промышленным рабочим?

Наш «мужиковствующий» критик мог бы задуматься и над тем, почему — вопреки его убеждению — процент деревенского населения в нашей стране становится все меньше и меньше, а хлеба в колхозах выращивают все больше и больше. А ведь не надо быть пророком, чтобы предсказать, что этот процесс будет неминуемо развиваться в силу все большей механизации производственных процессов на полях, которая в конце концов превратит наши колхозы в своеобразные «фабрики». Не ясно ли, что в наше время «кормит страну» даже и тот, кто, проживая в городе, проектирует и создает тракторы и комбайны, умножая производственные возможности колхозника? Не ясно ли также, что подобная взаимосвязь города и деревни объединяет народ в единое целое, придавая ему совершенно новый характер и наделяя отнюдь не «мужицкими» чертами?

Обо всем этом приходится говорить, ибо в сознании некоторых поэтов и писателей укоренилось устаревшее представление о народе. Поэтому только то

стихотворение, в котором автор использует лексику села, носит, по их мнению, печать народности украинского языка, а сюжет, стилизующий традиционные образы, по воле самой истории Украины всегда связанные с деревней, считается безыскусственным и органичным. Приговоры при этом безапелляционны, хотя факты и сама жизнь нашего народа изобличают удивительную ограниченность тех, кто считает себя единственным судьей в искусстве, находясь, однако, до сих пор в районе, может быть и трогательных, но уже нехарактерных окраин захолустной деревни.

Я знаю, найдутся и такие, которые возопят: «А не хотите ли вы сказать, что с ростом техники и благосостояния народа вообще отомрет народность?» «Полно,— возразит читатель,— какому же разумному и честному человеку придет в голову так нагло извращать смысл прочитанного?!» Но в том-то и дело, что ревнителю архаичности не останавливаются перед извращением фактов, так как сама жизнь лишает их более благородных аргументов.

Нет, народность искусства не отомрет! Она будет существовать, пока живы народы. Но вместе с неминуемым изменением их облика всегда будет меняться и она.

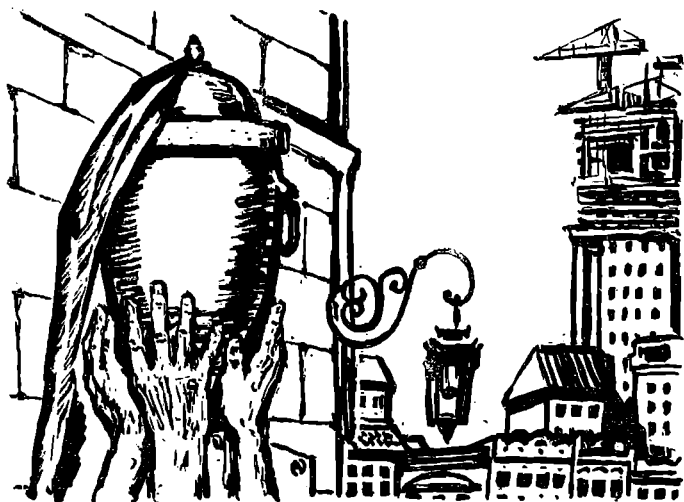
Прошлым летом я с большой группой колхозников наблюдал за движением спутника. Рядом со мной стояли разные люди — старые и молодые. Когда появилась яркая большая звезда, быстро плывшая над нами, молодежь восхищенно зашумела. Молчала только одна старуха, стоявшая рядом со мной, и глаза ее с жадным любопытством впились в сверкающую точку.

Когда спутник исчез, старуха потребовала объяснений. Молодежь наперебой стала что-то рассказы-

вать, но слова попросил пожилой колхозник, и все умолкли. Он хотел сам все объяснить старухе, и когда заговорил, всем стало ясно, что с его стороны это было не самонадеянно. Я слушал его толковые и разумные слова и думал о том, как много теперь знает и понимает простой человек, как далеко шагнуло его сознание от тех времен, когда, глядя на падающую звезду, он набожно крестился в ожидании небесного знамения.

Вспоминая этого человека, решительно ничем не отличающегося от миллионов других советских людей, невольно задумываешься над его изменившимся обликом и сложностью духовных запросов, которые являются единственным критерием для определения жизненности и народности искусства. Нет, ему нужны не лукавые стилизации литературных корабейников и не наивные примитивы поэтических чумаков. Ему ближе и понятнее поэзия, в которой звучат не только истоки, но и весь путь социального и интеллектуального развития нашего народа.

Слов нет, и примитив может быть по-своему поэтичен. Но если его и впредь считать высшим мерилом поэтичности, то можно сильно затормозить развитие советского искусства и оторвать его от растущего с каждым днем сознания широких читательских масс.



## *Сердце Шопена*

**К**огда по воле чудесной фантазии Адама Мицкевича старый литовец Будрыс послал троих сыновей в три разные стороны, чтобы в ратных походах они ему добыли золота, соболей и самоцветов, он почти не удивился, когда увидел, что, вернувшись из похода, каждый привез не меха и казну, а молодую польскую красавицу. Но когда в другой балладе, на-

званной в подзаголовке украинской, нужно было отомстить старому ревнивому воеводе за насилие над волей юной красавицы, Мицкевич избрал и сделал мстителем простого украинского «хлопа» Наума. Молодые литовские воины не ошиблись, променяв золото на человеческую красоту юной польки; не ошибся и поэт, когда дал оружие «хлопу»: настоящим защитником польской юности и красоты действительно оказался правнук простого «хлопа». К тому же и родом он был из наших краев...

Поневоле приходят в голову подобные аналогии, когда, идя по улице Жвирки и Вигуры, издали видишь огромный обелиск на братской могиле советских воинов, павших в боях за освобождение Варшавы. Здесь похоронены двадцать две тысячи советских солдат — своими жизнями заплатили они за свободу и честь Польской Сирены, вернули ей меч и щит и стали вечными стражами ее красоты и свободы.

Двадцать две тысячи... Недаром горький опыт давно уже внушил людям, что настоящая дружба — только та, которая освящена совместно пролитой кровью, скреплена братской поддержкой в тяжелые времена. Это мудрое правило — оно относится не только к каждому человеку в отдельности, но и к целым народам.

Я не был в Варшаве двадцать четыре года. О том, что произошло с городом за это время, много написано. Если Сталинград и Севастополь справедливо названы городами-героями, то Варшаву можно назвать городом-мучеником. Наши города были крепостями, Варшава — концлагерем. Севастополь и Сталинград оказались разрушенными потому, что фашизм бился своим железным лбом о гранит их стен



и разбился насмерть. Но гибель Варшавы еще не знаменовала гибели ее палачей. Начиная с 1939 года, они планомерно уничтожали народ и его культурное достояние. Этого не требовали интересы войны. Этого не требовали также и интересы обороны. Стремление уничтожить Польшу являлось актом тупой мести за музыку Шопена, за поэзию Словацкого, за гордость, с которой творения Мицкевича провозгласили веру в достоинство и бессмертие национального гения Польши, а значит, и в существование ее как великой европейской державы.

Польшу собирались вытоптать сапогами не только с целью избавиться от лишнего барьера на пути в Советский Союз, но и для того, чтобы рядом с напыщенным высокомерием фюрера не существовало воли и гордости «хлопа». Как всякая тупость, фашизм не терпел рядом с собой ничего выдающегося.

Они выдумали целую серию инсинуаций, чтобы доказать, что Польша не имела прошлого. Коперник? Но ведь он «по крови» немец! Шопен? Ведь фактически он француз! Мицкевич? Да ведь он же космополит, который всю жизнь болтался по миру, начиная с бунтарской России и кончая мятежной Францией!..

Все это, конечно, выглядело глупо, но вандалам и не нужны умные выдумки. Вся эта подлая ложь была лишь поводом к тому, чтобы запретить музыку Шопена, увезти из Варшавы памятник Копернику, разрушить монумент Мицкевича, возведенный в его честь благодарным польским народом.

Но святыни пережили своих палачей. Урна с сердцем Шопена, спасенная патриотами в дни войны, вернулась в Варшаву — она снова замурована в стену костела Креста; памятник Копернику, найденный сре-

ди завалей металлолома в Слэнске, снова установлен перед дворцом Станислава Сташица; а монумент Мицкевича, воссозданный в точном соответствии со скульптурой Циприана Годабского, как и прежде, возвышается на своем старом месте. Из огромного куска гранитной скалы, привезенной в Варшаву по приказу Гитлера для сооружения монумента ему самому, высечен прекрасный и незабываемый памятник жертвам Варшавского гетто — произведение, которое достойно увековечивает память об одной из самых героических страниц варшавской трагедии.

Можно долго рассказывать о том, как на пепле и развалинах выросла новая столица народной Польши. Новая — в полном смысле этого слова. Достаточно сказать, что в городе было полностью разрушено свыше одиннадцати тысяч многоэтажных зданий. Только десятая часть населения столицы уцелела и осталась в городе к моменту окончания войны... Десятая часть от миллиона трехсот пятидесяти семи тысяч!

Перед градостроителями встала сложнейшая и, несомненно, крайне ответственная проблема. Можно было убрать развалины и на месте прежней Варшавы построить новую столицу. Но это был бы город, лишенный всего, чем обогатили его и украсили минувшие века, освещенные сиянием великих художественных гениев. Навсегда канули бы в небытие замечательные памятники средневековой и новейшей архитектуры, исчезли бы места, связанные со всем ходом польской национальной истории, с именами мыслителей и художников, которыми был так богат польский народ... Можно было построить роскошный современный отель из никеля и стекла на месте знаме-

нитого Рынка в Старом Мясте... Но разве смог бы он отразить красоту и величие творческого духа страны, которая вырабатывала свой стиль и вкус на протяжении веков, шаг за шагом утверждая свое место в мировой культуре?

Но построить наново памятники древней архитектуры — не было бы ли это фальсификацией истории? Да и возможно ли вообще из кирпича, изготовленного по новейшим рецептам, из камня и мрамора, отшлифованного при помощи современных машин, построить сооружения, прелесть которых заключается именно в их конструктивной и архитектурной наивности, подкупающей ароматом и непосредственностью далекого прошлого?

Варшавские архитекторы решили эту задачу как подлинными художники. В тех местах, где прежде находились дома, не имевшие особой исторической или архитектурной ценности, решено было строить новый, современный город. Но там, где под развалинами оказалась погребенной история и искусство Польши, решили воссоздать его из материала самих развалин, используя все мало-мальски ценное, что было найдено среди них, — каждую уцелевшую деталь, каждый уцелевший камень... И только то, что превращено в прах и погибло бесследно, начали восстанавливать по старинным рисункам и гравюрам с предельной точностью, сохраняя мельчайшие особенности характера, стиля и даже строительной техники минувших веков. Точно так же, как было возвращено Варшаве сердце Шопена, ей нужно было вернуть все богатство ее многовековой и многострадальной души.

Все это выполнено с поразительным мастерством и трогательной любовью. Не верится, что руками, ко-

которые благодаря современной технике давно уже отвыкли от кропотливости средневековых кустарей, можно было воссоздать все эти витиеватые и милые художественные детали. Маленькие древние домики, объединенные в прекрасный ансамбль старинного Рынка, выглядят сегодня точно так же, как и семьсот лет тому назад. Там, внутри,— другое дело. В домиках вполне современные квартиры с газом и холодильниками. Но снаружи — это восставший из пепла тринадцатый век, замечательные памятники, ожившие благодаря истинному патриотизму польских архитекторов, каменщиков и плотников, благодаря их трогательному и мудрому пониманию истории и искусства своего народа.

Когда после катастрофы восстанавливают фабрики и заводы,— это объясняется понятной каждому практической необходимостью: людям нужно есть, одеваться, жить. Но когда народ с такой любовью восстанавливает то, что как будто и не способно принести материальные выгоды,— это может показаться непрактичным, а может быть, и излишним вообще. Ведь существует столько неотложных задач, разрешение которых могло бы немедленно отразиться на жизни и благосостоянии народа.

Но для того чтобы цвести, дерево должно иметь корни. И не даром дуб, у которого они особенно крепки, живет много столетий и способен переносить сильнейшие бури. Прошлое и будущее — это неразрывная цепь и одно без другого так же невозможно, как поэзия Тувима и Стафа без поэзии Мицкевича и Словацкого.

Поневоле чувствуешь железное единство этой исторической цепи теперь, когда видишь роскошные,

просторные и бесконечные улицы новой Варшавы. Бесчисленные новые дворцы, замечательные аллеи и парки могли создать только люди, за плечами которых стоит огромный исторический опыт народа. Своим устремлением в будущее поражают огромные районы новых жилых домов — Муранов, Мариенштадт, бесконечная трасса «В—З», да и весь необычайный масштаб и разворот строительства столицы. Это план, задуманный с истинной широтой, и он выполняется без малейшей показной роскоши и мелочного мещанского украшательства. Много света в огромных сплошных окнах, еще больше воздуха между отдельными архитектурными ансамблями — красота, обусловленная не хвастливым «шиком», а сдержанностью и правильностью пропорций. Это высокий класс современного архитектурного искусства, высокий уровень строительства для людей и ради людей.

В дни окончания войны в Польше были изданы сильные и трагические сборники рисунков украинского художника Зиновия Толкачева, посвященные жертвам Майданека и Освенцима. Со страниц этих книг замученные миллионы впервые взглянули на оставшихся в живых поляков, и, казалось, они тихо и заботливо шептали: «Не горюйте, люди: трагедия — позади. Впереди — новый расцвет и человеческое счастье». Польский народ горячо принял тогда сильные образы художника. Недаром, выпущенные в восьми разных изданиях, эти сборники переиздаются и продолжают жить. «Трагедия — в прошлом», — так говорил художник от имени всех нас.

Еще более громким призывом, как бы обращенным к великому городу, подымающемуся из руин, выгля-

дит теперь красота и величие Дворца польской культуры, построенного советскими людьми. Это великолепное здание возвышается над всей Варшавой, и порой кажется, что, устремленное в необъятную синь, оно спокойно повторяет: «Вы не одни, поляки. У вас есть верные и сильные друзья».

Да, трагедия — в прошлом. Впереди новый расцвет и счастье трудового человечества.



## *Поездка в Грецию*

### I.

**Ч**удесное развитие современной авиации не устраивает лишь одну категорию людей — туристов. В самом деле, за два-три часа быстрого полета самолет переносит вас в иной мир, лишая реального ощущения пространства, дорожных встреч, путевых приключений...

Путешественник — существо особенное: в тот момент, когда он из человека превращается в туриста, любопытство и дотошность становятся его главными свойствами и ему не по душе голубая синь воздушного океана, которая растворяет в себе все реальное и лишает его возможности видеть и ощупывать то, что находится там, внизу...

Иное дело — пароход... Вот он солидно и величественно гудит, предупреждая об отплытии; вот он медленно и чинно отчаливает от Одесского пирса... Через день — Констанца... К вечеру — Варна... Мы свободно и шумно прогуливаемся по дружественным городам... Еще через день — Босфор... В бинокле медленно проплывают прекрасные берега, чужие дома, люди... Мы жадно всматриваемся и ловим приметы незнакомой нам жизни и — главное — успеваем поразмыслить над увиденным, разложить свои впечатления на свободные полочки в просторных помещениях своего сознания... Пара круторогих волов — это чересчур медленно, но пароход — вот что целиком удовлетворяет транспортные запросы туриста!

Красота Босфора неопишима. Как бы сознавая свою великую роль водораздела, призванного размежевывать целые континенты, курится он золотой дымкой и голубым туманом, отражая в своей глубине купола Византии и Царьграда. Всем существом начинаешь ощущать величие пейзажа, важность этого исторического места, и в воображении переносишься в далекие и давно ушедшие времена... Но современность весьма грубо и отрезвляюще врывается в игру воспаленного воображения: перед нами железная сетка, перегораживающая Босфор. Говорят, что турки поставили ее «от подводных лодок». Не знаю, чьи и какие



чек настоящего акропольского мрамора. Без него не уходит отсюда никто — ни чикагский миллионер, ни профессор Сорбонны, ни даже настоятель католического собора. Но специальная «туристическая» полиция на чеку: без ее бдительности туристы давно растащили бы по карманам всю древнюю историю! Полиция смотрит сквозь пальцы только в одном случае — если вы подымаете камешек с земли. Но шутники утверждают, что греческое ведомство, охраняющее памятники старины, имеет специальный камнедробильный завод, производящий подобные камешки, которые полиция понемногу разбрасывает по ночам в районе древних памятников...

Я не знаю точных цифр, но туристов здесь так много, что доходы от этого промысла, видимо, занимают немалое место в государственном бюджете. Некоторые называют подобный промысел «торговлей былой славой». Мне такое злоязычие кажется несправедливым. Разве плохо, если миллионам людей представляется возможность приобщиться хоть на мгновение к тому, что напоминает о былом демократизме Перикла или гуманистических идеях Фидия? Плохо другое — нынешние правители Греции используют эту возможность уж слишком редко.

И в самом деле: можно ли себе представить, чтобы полиция древней Эллады позволила себе рыться в вещах гостей, которые приезжали сюда любоваться ее великими созданиями? Способны ли были древние гордые эллины на то, чтобы подбрасывать своим гостям из далеких стран глупейшие листовки и брошюры, составленные тупыми и озлобленными людьми? И когда в те далекие времена гости благоговейно ступали по плитам прекрасных храмов, окружала ли и

их толпа полицейских в штатском? А ведь вокруг нас днем и ночью толпилась отнюдь не «туристическая полиция»!

Что и говорить,— за два с половиной тысячелетия нравы этой страны изменились к худшему. В результате мне, например, пришлось курить табак с непозволительно низким процентом влажности, так как все коробки «Золотого руна» были в мое отсутствие вскрыты полицией. И не моя вина, если наличие свободолюбивого эллинского духа в этой стране показалось мне в эти дни весьма сомнительным...

### III.

И все же дух этот жив. Не только на острове Макронисос, о котором нынче принято упоминать лишь испуганным шепотом. Дух эллинов теплится — и прорывается изредка, словно искра из-под толстого слоя мертвящего пепла,— и в некоторых проявлениях искусства, и в сохранившейся физической красоте народа, и даже в этом опасливом шепоте по поводу страшного острова...

Нам посчастливилось побывать на спектакле королевской труппы, которая ставила «Медео» в древнем Одеоне Ирода Аттиковского. С каким блеском и простотой переносило нас современное искусство в мир страстей далеких предков! С какой удивительной пластичностью передвигался Эврипидовский хор, таинственно входя в жизнь и трагедию страждущей матери и жены! Никто, кроме настоящих эллинов, не мог бы проникнуть с такой глубиной в смысл этого творения, с таким тактом и тонкостью воссоздать атмосферу давно ушедших времен. Но для этого, конечно, необхо-

именно лодки могут их волновать, но в наших мирных сердцах блаженный покой нарушается...

Грустно становится на душе, когда чья-то грубая и неразумная сила врывается вдруг и оскорбляет твои наивные иллюзии. Ведь мы, туристы, хотим только одного — увидеть незнакомые города, понять, как и чем живут здесь люди, чтобы рассказать об этом у себя дома и, быть может, способствовать этим сближению наших народов... Зачем же этот турецкий занавес, как бы дающий понять, что нас впускают в иной мир в виде опасного и нежелательного исключения?!

Вскоре выясняется, что наша тревога не напрасна. По воле полицейских властей стоянка нашего парохода сокращена вдвое и, естественно, в город советских людей выпустить «не успевают». Да, железная сетка, предназначенная для защиты Турции от «подводных лодок», оказывается, имеет не столько практическое, сколь символическое значение: она призвана «защищать» государство и от искренности соседей!

Забегая вперед, сообщаю, что на обратном пути нас все-таки пустили в Стамбул. Турецкая полиция сменила гнев на милость. Для этого, правда, понадобилось, чтобы в мире произошли чрезвычайные, нелыханные события.

Но об этом — потом.

## II.

Человек, побывавший в Стокгольме, может себе представить Швецию. Этот город с его чистотой и основательностью зданий, с чопорной аккуратностью людей дает представление и о характере всей страны:

вся она так же чиста и аккуратна, чопорна и основательна.

В Греции не то. Афины не дают никакого представления о суровейших горных хребтах Эпира, о милых маленьких городках, сплошь заставленных столиками, за которыми по вечерам сидит все местное население, ничего не заказывая скучающим официантам... Афины обычны; в Европе теперь немало таких в меру шумных и не слишком больших городов, ярко расцвеченных модными автомобилями и неоновым огнем.

Туристу, который ищет внешних впечатлений, пожалуй, стоило бы поехать в Нью-Йорк или Чикаго, где шума наверняка побольше... Но ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго не найдет он заветного Пникса — холма, на котором впервые в истории было произнесено слово демократия,— или Акрополя, в чудесных мраморах которого воплотились демократические идеи дохристианских эпох.

Сюда приезжают не за пестрыми впечатлениями. Поэтому и туристы здесь какие-то особенные. Здесь тоже в большом количестве представлены неусидчивые и любопытные люди всех стран. Но может показаться, что, вступив на греческую землю, они выбросили из своего сознания отпущенную всем туристам огромную дозу суетливости и легкомыслия: на их лицах отражено самоуглубление, без которого они, видимо, боятся здесь выглядеть недостаточно серьезными.

Однако неминуемо наступает момент, когда на их вдумчивых лицах появляется озорная и вороватая улыбка: даже самый серьезный человек старается улучшить минутку и «отколупать» себе сувенир — кусо-

димо быть не только эллинами, но и подлинными художниками, нужно свято беречь тысячелетние традиции своего великого искусства, горячо любить и понимать его...

Трудно передать красоту и благородство этого удивительного спектакля. Здесь слились воедино и величие древнего амфитеатра, и красота Парфенона, подсвеченного яркими прожекторами на фоне черного неба, и сознание, что именно вот здесь, на этой самой площадке 2500 лет тому назад впервые прозвучал душераздирающий вопль Медеи, убивающей своих детей во имя святой мести за вероломство... И хотя на каменных скамьях сидели теперь не древние афиняне, а люди с иными, порой весьма практическими взглядами, трепет пробегал по спине каждого зрителя, заставляя его замереть и затаить дыхание.

Но современность грубо ворвалась и сюда. Вдруг неизвестно откуда появился быстро нарастающий грохот. Через несколько секунд над самым амфитеатром пронеслись три реактивных истребителя крестообразной формы. Их вторжение в поэзию Эврипида было настолько неожиданным и подавляющим, что даже сидевшие неподалеку американцы брезгливо поморщились.

Я вспомнил о железной сетке, перегораживающей Босфор. Но та была поставлена только против нашего добрососедского «проникновения»... Этот же грохот подавлял все человеческое и живое, что доносилось из глубины веков и называлось истоком европейской цивилизации. Гул этот становился железной стеной между величайшей поэзией и мудростью истории и современным человеком, беспощадно швыряя его в вырванную им бездну.

В подобной атмосфере реактивного гула приходится здесь работать и создавать. И если камни театра Ирода Аттического не могут сдвинуться с места и уйти прочь из поработанной страны, то многие живые творцы покидают свои места и разлетаются по свету.

Я спросил у своего знакомого: что нового в современной литературе?

Он мне ответил:

— Прочтите роман Казанзакиса «Христос распят снова».

— А нельзя ли встретиться с самим Казанзакисом?

— Что вы, ведь он эмигрировал во Францию!

Да, писатель, которым гордятся греки, вынужден был бежать: здесь он отлучен от церкви, книги его уничтожены.

Да и удивительно ли: ведь заморские истребители не только пролетают над Акрополем,— они базируются возле самых Афин. Естественно, что их гнетущее влияние сказывается не только на зрителях Одеона, но и на судьбах таких людей, как писатель Казанзакис...

#### IV.

Греция — бедная страна. Из семи с половиной миллионов ее граждан треть имеет удостоверения о бедности. В других странах такой документ дает право нищенствовать; в Греции он только освобождает от уплаты налогов.

Треть всего населения — такова здесь армия безработных.

Трагедия этой страны заключается в том, что она приняла американскую помощь. В недрах Эпира и

вся она так же чиста и аккуратна, чопорна и основательна.

В Греции не то. Афины не дают никакого представления о суровейших горных хребтах Эпира, о милых маленьких городках, сплошь заставленных столиками, за которыми по вечерам сидит все местное население, ничего не заказывая скучающим официантам... Афины обычны; в Европе теперь немало таких в меру шумных и не слишком больших городов, ярко расцвеченных модными автомобилями и неоновым огнем.

Туристу, который ищет внешних впечатлений, пожалуй, стоило бы поехать в Нью-Йорк или Чикаго, где шума наверняка побольше... Но ни в Нью-Йорке, ни в Чикаго не найдет он заветного Пникса — холма, на котором впервые в истории было произнесено слово демократия,— или Акрополя, в чудесных мраморах которого воплотились демократические идеи дохристианских эпох.

Сюда приезжают не за пестрыми впечатлениями. Поэтому и туристы здесь какие-то особенные. Здесь тоже в большом количестве представлены неусидчивые и любопытные люди всех стран. Но может показаться, что, вступив на греческую землю, они выбросили из своего сознания отпущенную всем туристам огромную дозу суетливости и легкомыслия: на их лицах отражено самоуглубление, без которого они, видимо, боятся здесь выглядеть недостаточно серьезными.

Однако неминуемо наступает момент, когда на их вдумчивых лицах появляется озорная и вороватая улыбка: даже самый серьезный человек старается улучшить минутку и «отколупать» себе сувенир — кусо-

Олимпа, в долинах Пелопоннеса и на многочисленных островах имеется все для развития промышленности, которая могла бы дать работу миллионам трудовых людей. Здесь есть всевозможные руды и бокситы, есть хлопок и табак, есть угли и оливковые рощи.

Но американцы помогают своеобразно: в чужих странах они строят не доменные печи, а военные аэродромы. А Грецию они к тому же считают ненадежным местом для промышленных капиталовложений: в военном отношении это территория, как они выражаются, «бросовая». Да и куда выгоднее покупать за бесценок греческое сырье и наживаться потом на продаже промышленных изделий в той же Греции!

В результате страна не имеет ни одного металлургического или машиностроительного предприятия. Зато в Салониках могут базироваться американские авианосцы, а в Глифаде — реактивные истребители.

Что это значит для трудового народа, ясно без слов. Ему негде работать и у него нет никакой надежды, что положение изменится к лучшему.

Вы подъезжаете к гостинице в Триккала или Олимпии, и вас поражает необычная картина: десятилетние дети устремляются к вашим чемоданам, которые должны доставлять в номера коридорные.

Но коридорных не держат, используют детей.

Когда в Олимпии девочка подошла к моему чемодану, я спросил суетившегося рядом хозяина:

— Не слишком ли она мала в сравнении с этим чемоданом?

Я отстранил руку ребенка и взял свой чемодан сам. Но хозяин заметил:

— Вы лишаете ее хлеба.

Хозяин говорил правду. Но в его правде все же



звучал и голос хозяина: ведь ребенку он заплатит в десять раз меньше, чем коридорному.

Мне случилось побывать на одной из табачных фабрик Папастратоса. Бросилось в глаза, что на этом вполне современном и хорошо оснащенном предприятии большую часть сигарет укладывают в коробки вручную. Когда я обратился с вопросом по этому поводу, сопровождавший представитель фирмы весело ответил:

— Но ведь ручная укладка аккуратнее! Особенно, если укладчицы столь очаровательны...

Цех был действительно наполнен ослепительными красавицами. Но так ли уж важно это было для будущих потребителей? Ведь вместе с сигаретами укладчицы не упаковывали в коробки своих портретов. Да и машинная укладка, которая производилась в соседнем цехе, мне показалась ничуть не хуже ручной...

Я вернулся в цех, где работали красавицы, и спросил одну из них:

— Сколько вы зарабатываете?

— Тридцать драхм в день.

— Этого хватает?

Она подмигнула в сторону стоявшего позади меня полицейского и весело крикнула:

— Ну конечно же! Вполне.

Я понял ее невеселую улыбку: за эти деньги можно купить лишь кило мяса. А на ее иждивении семья...

Понял я также и отдававшее цинизмом объяснение представителя фирмы: ручной труд просто дешевле машинного. Особенно, если учесть, что рабочих рук теперь в Греции сколько угодно. Ведь фирма не лишена даже возможности выбирать из огромной армии греческих работниц лишь самых очаровательных!

Греческая деревня невесела, хотя покосившиеся домики порой и напоминают старый Крым. Земли здесь слишком мало, она камениста и в горах расположена галереями. Чтобы вырвать у нее урожай винограда, риса или хлопка, надо полить каждый клочок обильным потом.

В сельских кофейнях, расположенных прямо на улице, можно нередко увидеть мужчин за крохотной чашечкой греческого кофе. Даже в рабочее время они урывают минутку, чтобы посудачить под навесом. Не то их жены: этих не увидишь без дела. Как все деревенские женщины в мире, гречанки куда трудолюбивее мужчин.

Ни на минуту, ни в какой обстановке они не расстаются с работой. Вот молодая крестьянка гонит на пастбище овец — в руках у нее спицы, в кармане моток шерсти: она вяжет чулок. На свое рукоделие она и не взглянет — руки двигаются с поразительной быстротой, пальцы безошибочно делают свое дело сами. И, как бы совершенно не думая о своем рукоделии, она быстро шагает по дороге, замечая все, что происходит вокруг.

Вот едет старушка на крохотном ослике: в своей черной одежде она похожа на обугленное изваяние. Ослик настолько мал, что кажется, вот-вот подогнутся его тоненькие ножки. Но унылое животное несет свою повелительницу, а она держит под мышкой веретено и делает обычное дело: сучит пряжу.

В Афинах женщины ходят по улицам чуть ли не полуобнаженными. Прежде я думал, что их рискованные декольте, открывающие шею и спину значительно

ниже, чем это принято в других странах, вызваны климатическими условиями: летом здесь действительно очень жарко. Но, глядя на одежду крестьянок, я усомнился в скромности афинских красавиц. Здесь солнце жжет немилосердно, но женщины наглухо закутаны в черное или темно-красное — в зависимости от возраста. А впрочем, может быть, это остатки турецкого влияния: ведь и здесь при их владычестве женщины носили чадру.

В деревнях попадают тракторы, которые, как правило, приобретают «артелью» — вкладчину. Но машин мало, да и трудно ими пользоваться в горах. Маленький, трудолюбивый ишачок — вот главная двигательная сила здешней деревни. Глядя на это животное-пигмея, удивляешься, откуда в нем столько сил. Не из знаменитого ли Кастальского источника? Уж пусть простят меня стихослагатели: я сам видел, как из этого заветного источника поили осликов.

Нам посчастливилось побывать и на деревенской свадьбе. Проезжая мимо Агроситес, мы увидели в стороне от дороги огромный танцующий человеческий клубок. Люди, взявшись за руки, образовали большой хоровод, иные плотно сбились сзади и тоже пританцовывали.

Внутри круга плавно кружилась невеста, одетая, как и подобает в ее положении, в белоснежное кисейное платье. Несколько пятилетних девочек поддерживали ее роскошный шлейф. Платье и волосы были украшены стодрахмовыми кредитками — подарками, которые принято прикалывать к одежде невесты. Она плавно кружилась под шумную музыку, а танцующие вокруг продолжали прикалывать свадебные подарки,

от которых невеста все больше становилась похожей на рождественскую елку.

Я видел прежде, как тяжело трудятся эти люди, как нищи их дома, сколько горького пота надо пролить в этих величественных горах, чтобы добыть порцию маслин или горсть изюма, и мне показалось до слез трогательным это наивное веселье, эта необыкновенно чистая праздничная одежда, эти крохотные девочки, с такой серьезностью поддерживающие шлейф невесты...

И удивительно — здесь столько вина, и все-таки на свадьбе не было не только ни одного пьяного, но даже ни одного подвыпившего человека.

Впрочем, если уж говорить о пьяных, то надо сказать, что в этой стране напиваются — и при том ведут себя совершенно по-свински — исключительно американские морячки. Думаю, однако, что способствуют этому не столько дешевизна и обилие вина, сколько совершенно иные причины...

## VI

Да, тот, кто побывал только в Афинах, не может себе представить Греции. Я ходил по ровным, шумным улицам, мимо зеркальных витрин, уставленных разными предметами из нейлона, и все время задавал себе вопрос: почему именно здесь, в этом безводном и, казалось бы, ничем не примечательном месте расцвела столь великая и неповторимая культура прошлого?

Но стоит выехать из Афин и хоть немного углубиться в каменные громады горных хребтов, стоит только взглянуть с орлиных высот на раскинувшиеся

внизу бескрайние долины — и вам становится ясным, что только подобное величие природы способно было родить Фидия и Проксителя.

Кавказские горы выше, но покрывающая их растительность делает даже самые неприступные из них пригодными для жизни человека.

Здесь могли жить только боги. Тысячметровые отвесные скалы и пропасти требовали крыльев; голые каменные вершины, на которых не за что ухватиться даже облакам, рождали великий дух и титаническую мускулатуру. Достаточно посмотреть на остатки циклопической кладки дворца Агамемнона, взглянуть с этой головокружительной высоты на раскинувшийся вокруг пустынный и величественный мир, чтобы понять, из чего вырос Перикл и древние трагики.

Если же перейти от мифологии к реальности, то должен признаться, что и сейчас, вспоминая дорогу на Лариссу, я чувствую, как по спине моей пробегает нервная дрожь. Конечно, наши крымские и кавказские шоферы — великие мастера, они даже кажутся нам порой лихачами. Но я убежден в том, что здесь бы им пришлось начинать все сначала...

На этих вершинах формировался эллинский дух, среди этих скал он проявлялся и в наше время, когда греческая армия так долго и с таким поразительным героизмом сопротивлялась германо-итальянской военной машине. Здесь этот дух давал о себе знать и в совсем недавние времена, когда греки восстали против нынешних «мирных» поработителей из-за океана. Сейчас не принято, а главное — опасно называть имена героев. Но если их называют шепотом, если, произнося их имена, людям приходится с опаской оглядываться по сторонам, — разве значит это, что они

умерли? Да и шепот звучит громко в этих местах — здесь чистый воздух и хороший резонанс.

Как-то, сидя на скамейке в одном из пелопоннесских городков, я спросил знакомого грека:

— Почему американские истребители окрашены в красный цвет? Ведь с точки зрения маскировки это не совсем разумно.

В ответ мой собеседник улыбнулся:

— В греческом сознании много красного цвета, а хамелеоны всегда принимают окраску местности...

Он, конечно, шутил, но что касается определения цвета греческого сознания, то в его словах было много серьезной правды.

## VII

5 октября 1957 года на первых страницах афинских газет появились сенсационные сообщения о запуске советского спутника Земли. Это событие настолько потрясло всех, что даже наши соглядатаи устыдились и решили с нами «объясниться».

Как-то я сидел за столиком кафе, расположенного прямо на улице. Был последний день нашего пребывания в Греции. Я пил кофе из фаянсовой чашечки и думал об этой прекрасной стране, о ее красивых людях и их нелегкой жизни.

Вдруг ко мне подошел один из наших соглядатаев.

— Вы сегодня уезжаете...— робко и растерянно начал он.— Мне бы не хотелось, чтобы вы увезли с собой неприятные впечатления... Мы не для слежки находились при вас — мы охраняли вас от возможных неприятностей... Ведь в Греции много плохих людей —

некоторые даже осмеливались подбрасывать вам листовки...

Он беспомощно лепетал свои извинения, а в руках нервно мял газету, во всю первую страницу которой был изображен земной шар и схема движения советского спутника.

Он уловил мой взгляд, направленный на газету, и еще более растерянно и без всякой связи произнес:

— Да, это потрясающе! Так вот... до свидания...

Может быть, о подобной сцене и не стоило упоминать — ведь советский спутник ошеломил даже президентов. Но оказалось, что полицейские на это всемирное событие реагировали везде одинаково: когда наш пароход снова пришвартовался к пристани в Стамбуле, нас не только выпустили на берег, но и с необычной любезностью заявили:

— Либерте!

Это значило, что теперь мы в Стамбуле можем себя чувствовать совершенно свободно.

Не скрою: подобные перемены в умах недружелюбных людей были нам приятны. Но одна мысль сверлила мозг и не давала покоя: почему же, почему нужно ждать особых, потрясающих событий, чтобы относиться к людям по-человечески?! Неужели только сила, а не логика жизни на земле способна отрезвлять подобных людей и приводить их в сознание?!

К сожалению, это пока что так. Жаль! Но если иначе нельзя, то мы горды от того, что в наших руках эта сила.



# ТРОЗЕН ДНЕПР







## *Дыхание пережитого*

**В** прошлом году я привез из-за границы машинку для очинки карандашей в виде маленького глобуса. Эта симпатичная вещица, больше похожая на игрушку, нежели на предмет практической необходимости, целый год стояла на столе, и мне ни разу не пришло в голову по-настоящему к ней присмотреться. Только недавно я стал ее рассматривать и не-

ожиданно обнаружил, что, хотя приобретена она в северной нейтральной стране, родиной ее является Западная Германия.

Не понимаю почему, но сердце мое болезненно ёкнуло. Видимо, интуиция сработала прежде, чем в действие пришло сознание. И только чуть позже, когда я осознал, в чем, собственно, состоит практическое назначение глобуса как такового, и сопоставил это с политическим характером страны, в которой он был произведен, стало ясно, что волнение мое не случайно.

Конечно же, этот маленький шарик оказался необычным! Четкие линии границ находились на нем почему-то вовсе не там, где следовало. Вдруг обнаружилось, что темно-синей краской закрашены не только обе Германии, но и Польша, и Чехословакия, и даже Украина... Сначала это показалось случайной небрежностью: ведь от такого крохотного глобуса, предназначенного вовсе не для изучения политического состояния современного мира, нельзя требовать картографической точности. Однако изображения контуров других частей света были весьма точны. Да и само это огромное синее пятно, словно зловещая тень покрывшее совершенно разные страны, вовсе не походило на бесформенный подтек типографской краски! Оно вполне правдоподобно изображало природные рельефы существующих границ с той лишь разницей, что накрывало не только Боннскую федерацию, но и несколько других, совершенно суверенных стран, которые никогда в истории не входили в ее пределы.

Ясно — в этом не было никакой случайности. Просто некто (может быть, и сам фабрикант игрушек, по

понятным обстоятельствам вынужденный заниматься производством школьных принадлежностей) по-пробовал «подправить» географическую карту Европы, или, иначе говоря, перекроить мир сообразно с воинственными речами некоторых боннских политиков.

Случай этот может показаться и смешным, и курьезным, и даже недостойным серьезного обсуждения. Подумаешь, мол, игрушечный глобус! К тому же политическое сумасбродство — закон капиталистического общества: оно будет существовать, пока не исчезнет сам капитализм. Да и опасно ли оно? Ведь опыт показывает, что человечество вовсе не склонно клевать на удочки авантюристов и все, пытавшиеся перекраивать географические карты, получали лишь саваны, сшитые из географических карт.

Но в наше время это явление страшнее, чем когда бы то ни было. Современное оружие фактически находится в руках у единиц. Кнопка, которую надо нажать, чтобы взлетели целые города, может находиться и в руках сумасшедшего. Не поэтому ли ощущаешь в сердце болезненный толчок, когда смотришь на боннскую игрушку?

Бдительность — вот оружие людей. Бдительность, которая и на мгновение не упускает из виду дрожащую руку поджигателя. Бдительность — это всемогущее оружие самосохранения народов, вокруг которого объединяются их помыслы и стремления. Ведь слезы и кровь, горе и смерть, коварство и ложь, огонь и разруха ненавистны всем в одинаковой степени.

Требуется лишь одно: помнить. Никому не позволять усыпить себя. Видеть всегда с одинаковой остротой пережитое. Ни за что ничего не забывать! Пом-

нить — хотя иногда так хочется думать о другом. Заглядывать изредка в свои старые пожелтевшие тетради, со страниц которых веет отрезвляющим дыханием пережитого, будя твою память и не давая ей спокойно уснуть.

Ведь даже эта маленькая игрушка требует неусыпной бдительности. А бдительность — это память, которая всегда начеку.



## *Грозен Днепр*

### I

**Д**невный и величественный, полный сил и великолепия, жил своей волшебной жизнью Днепр. Долгие столетия проносил он голубые воды к морю, и каждая его капля, казалось, вмещала в себе целую историю.

Великое прошлое нашей прекрасной страны всегда

связывалось с мощью этой многоводной реки; бурная, некогда клокотавшая народная страсть воплощена была в дикой непобедимости его неугомонных порогов. Днепр — это была Украина.

Он и остался воплощением этой жемчужины. Он был верен земле, которую омывал. Он жил так, как жила Украина. Вместе с ней стонал он когда-то; в новый век исторического расцвета он тоже вошел вместе с ней.

Над крутыми его берегами, над седыми гранитными кручами зазвенела кирка. Динамит и аммонал перекликнулись в тишине долго стонущим эхом. Взлетели Кресло Екатерины, скала Сагайдачного, хортицкие берега... Человек пришел менять облик своего Отечества. Это был новый, невиданный, но настоящий человек.

Тысяча девятьсот двадцать седьмой год. Будущая плотина — одно из величайших созданий человеческих рук — должна была высоко поднять уровень воды и затопить десятки старых соломенных сел, тысячи хат, изъеденных червями времени и превращенных в труху.

И вот из Харькова приехала правительственная комиссия, которая должна была заняться переселением жителей затопляемых районов на новые места. Комиссия отводила плодородные участки, снабжала переселенцев деньгами и материалами для постройки новых, светлых домов, для обзаведения новым хозяйством. Люди с радостью встречали улыбающееся им счастье, они понимали, что их зовет будущее, и покидали свои полуистлевшие гнезда, уходили на Хортицу, на нижний Днепр, чтобы жить, идя в ногу с зовущими их событиями.

Я помню сельскую сходку в Кичкасе. Население собралось для обсуждения вопроса о переселении. Все местечко решило пойти навстречу советской власти. И только один дед Яким отказался покидать свое насиженное место.

— Отец умер здесь, дед умер и прадед. И меня здесь погребут,— говорил он тихо, но властно.

Дед Яким помнил похороны Тараса Шевченко, он часто перевозил через Днепр художника Репина. Перед его глазами прошло почти целое столетие, и сам он был воплощением прошлого своей великой Украины. Дед Яким был сед, как Днепр, и, как Днепр, непокорен. Он цеплялся за свое прошлое и трепетал перед идущим навстречу веком его правнуков.

Но правнуки, победившие Днепр, победили и деда Якима. В эти дни они совершали прыжок в будущее. Они ушли из села, оставив на площади Якима одного. Но, украдкой оглянувшись, люди увидели, как старик после долгой и мучительной борьбы с собой, медленно, весь содрогаюсь от старческого волнения, пошел за ними.

— Идолы,— сердито кричал он.— Ваша правда!

Когда он сделал первые робкие шаги, от толпы отделился его правнук Омелько и подбежал к нему. Он схватил под руку своего прадеда, улыбался, ободрял старика. Он был счастлив, что мудрость времени пошла за ним.

Замершая толпа стояла в немом оцепенении, созерцающая величественный союз прошлого и настоящего. К ней приближались прадед и правнук. Прошлое оправдывало и вдохновляло молодых.

Через пять лет было завершено одно из самых замечательных строений человеческого гения. Это был

не храм, подавляющий своим величием и превращающий человека в ничтожную пылинку. Днепровская плотина возвеличивала Человека, ибо сам и для себя создал он этот гигантский памятник; ибо велик тот, кто сам способен создать подобное величие!

Днепр преобразился. Его трудно было узнать. Как радуга, в брызгах и пене встала величайшая плотина на земле. Внизу, на расчищенных берегах кипящей реки, на Хортице, убранной в майский изумруд, выросли прекрасные строения. В них жили люди, переселенные из затопленных древних сел. Дед Яким сидел на стеклянной веранде ослепительного домика и восхищался плодом труда своего правнука...

## II

Передо мной сидит странный человек. Он молод, но бледное лицо окаймлено бесформенной рыжеватой бородой. Он грязен и оборван. Пальцы выглядывают из продранных сапог.

Я с трудом узнаю в нем Омелька — юношу, которого встречал когда-то в Кичкасе, а потом почти ежедневно видел в цементных блоках будущей великой плотины.

Что случилось с этим стройным, так недавно красивым человеком? Какое горе одело его в это грязное тряпье? Что смутило озорной мальчишеский блеск серых, почти прозрачных глаз?

Он пришел из-за Днепра. Он перенес плен и неволю. Его пытали фашистским штыком и били кулаками, поблескивавшими неуклюжими бюргерскими кольцами.



Он пришел к своим по огромным пространствам разоренной, сожженной и ограбленной страны. Он видел горе тех, кто стонет под германским сапогом, но ждет и верит в нашу победу.

Омелько оборонял Днепрогэс. Грудью своей защищал он то, что создал в поте лица. Он смотрел на ровные улицы прекрасного города, по которым били крупновские орудия, и сердце его обливалось кровью. Здесь, в этом городе, олицетворявшем завоевания его поколения, на плотине, воплощающей его молодую мечту, в бурно пенившемся водопаде покоренной днепровской стихии был видимый, осязаемый, почти осязаемый социализм.

Гитлеровцы нажимали все сильнее и сильнее. Им нужно было форсировать реку выше Кичкаса. Но Днепр был широк и многоводен. Лазурное озеро Ленина преграждало им путь — оно было непреодолимым препятствием.

Им пришлось пойти через Хортицу, где река хоть и узка, но форсировать ее приходилось дважды. Однако советские люди, поклявшиеся ничего не оставлять ненавистному врагу, взорвали радужные мосты, висевшие над голубыми омутами. Сотни гитлеровцев полетели вниз, но их генералы не жалели человеческой крови. Они бросали все новые и новые полчища в Днепр. Окровавленными телами своих солдат прудили они реку, переходя на Хортицу. Высока была цена, но далека победа. Советские воины дрались как львы, и история не забудет имен защитников Хортицы. Памятником им будет победа, их славой — высокая доблесть и мужество, с которыми они встречали смерть.

Но положение с каждым часом осложнялось. Вра-

га нужно было задержать на правом берегу, пока еще не вывезены заводы, пока от смертельной угрозы не спасены женщины и дети, пока не отошли войска на новые оборонительные рубежи. Велика была цель, и никакая цена не могла казаться непомерной.

И вот на рассвете произошел взрыв. В старом Запорожье, на расстоянии многих километров, от страшного сотрясения вылетели оконные рамы. Целый пролет гигантской величественной днепровской плотины разлетелся в прах.

Вода ринулась вниз. Она бушевала, как дикое животное, отыскивавшее выход своей ярости. Она ломала вражеские переправы, сносила тяжелые орудия и танки, она заливала пространства, превращая и этот путь через Днепр в дорогу смерти. Цель была достигнута: гитлеровцы искромсаны могучим ураганом, стерты в порошок обломками бетона, уничтожены, истреблены.

Но вода рвалась дальше. Она устремилась к маленьким красивым домикам у подножия изумрудной Хортицы. Она крушила, равняла с лицом земли места, где люди нашли свое счастье, где недавно жили те, кто в трудовые часы деловито ходил по длинным стеклянным анфиладам турбинного зала, кто осуществил свою мечту, воздвигнув этот сияющий памятник своему времени.

И чем больше мелело озеро Ленина, чем явственнее сближались так недавно далекие берега, тем отчетливее выплывали страшные остатки прошлого, погребенного когда-то под водой. Медленно, будто снова рождаясь, появилась из-под воды уродливая, вся обвитая водяными растениями кичкасская церковь. Все больше и больше оголялись крутые скалы старых дне-

провских берегов. Затем стали появляться черные, прогнившие за двенадцать лет подводной жизни крыши некогда брошенных строений, появились стены домов, кривые улицы и покрытая песком и илом ярмарочная площадь. Это всплыло прошлое — мир, угнетавший деда Якима, давно уже погребенного в хортицкой земле, на старом казацком кладбище. Это всплыли пройденные века, звеня каторжными кандалами, свистя длинными арапниками крепостничества и угнетения, зияя воспаленными глазами, полными вдовьих слез и сиротского горя.

...Осунувшийся, постаревший правнук деда Якима сидит передо мной. Он видел, как рождалось будущее и как было воскрешено прошлое. Но разве проходят безнаказанно преступления людей, вмешавшихся в закономерный бег времени? Разве проходят даром святотатство и надругательство над тем, во что верит человек?

И разве можно сомневаться, что это насилие будет достойно отомщено?

### III

Когда-нибудь мы назовем фамилию Омелька. Люди, взлелеянные голубым Приднепровьем, узнают того, кто громил немецкие обозы, кто поджигал вражеские танки, кто взрывал склады с боеприпасами в далеком тылу гитлеровцев.

Омелько защищал Хортицу. Он мужественно сражался с врагом, и на его руках один за другим умирали его товарищи. Позже, когда держаться уже не было сил, он включил рубильник. Собственной рукою

поднял он в воздух то, ради чего жил. Враг не должен был воспользоваться его бесценным достоянием, его воплощенной мечтой. Омелько укротил боль, но в сердце унес горечь обиды, чувство ненависти, жажду мести, решимость бороться.

Он ушел в партизанский отряд. Он мстил за поруганную честь, за окровавленную Украину, за возмущенный Днепр, за насилие над законами истории и времени. Он мстил, жестоко мстил!

Фашисты дрожали перед именем этого неизвестного мстителя. Никто не знал, откуда он появлялся во главе своих товарищей, но он был вездесущ. Гитлеровское командование назначило большие награды тем, кто покончит с неизвестным храбрецом. Сначала сумма назначалась за живого Омельку. Потом гитлеровцы согласились получить хотя бы его голову. Затем они объявили, что удовлетворятся указанием места, откуда совершаются дерзкие налеты.

Все было напрасно.

Но теперь, когда Омелько сидит перед нами, когда после крупной и удачной операции он прошел через все заградилки, чтобы попасть к своим, мы откроем тайну этого необычного человека.

В день, когда из-под воды всплыли сгнившие, занесенные илом домики Кичкаса, Омелько пережил вечность, сделавшую его стариком. Он решил, что сможет надежно укрыться в этих домиках, куда гитлеровцы не рискнут полезть, но где ему знаком каждый закоулок, каждая улочка. Руины всплывшего Кичкаса скрыли его следы и вместе с ним мстили чужеземным пришельцам. Отжившие и страшные, они мстили за свое неестественное воскрешение, за свое возвращение к жизни, которая по незыблемым зако-

нам времени должна была принадлежать израненному Днепрострою.

...Омелько сидит передо мной. Вера его жива. Он будет драться до конца, вдохновленный историей своего народа и своей собственной биографией. Он не успокоится до тех пор, пока враг не заплатит за боль и обиду советской земли, пока вывороченные камни мостовых не перестанут вопить о священной мести.

Он не успокоится до тех пор, пока весна не раскует порабощенный Днепр; пока освобожденные воды не смоют с лица земли страшного кошмара, душераздирающего сна, на мгновение ставшего действительностью; пока страсть создателя не получит славного и почетного выхода.

*1942, март.*

*Юго-Западный фронт.*

Война прошла по крышам тысяч улиц. Сотни городов сожжены и уничтожены. Но то, что произошло в Чернигове, не найдет себе примера в позорной книге коварства и жестокости.

Я верю, настанет час и все забудется. Город восстановят руки строителей. Мирный и светлый, он будет вновь сиять и красоваться в веках. Но больше никогда он не восстанет из праха таким, каким был когда-то, ибо в том-то и состоит печальная сторона прекрасного, что, будучи уничтоженным, оно уже никогда не может быть повторено или восстановлено в точности.

Большая квадратная площадь в центре города, выложенная клинкером... Дворец Мазепы в старом тенистом парке над Десной... Старый собор с золотыми остроконечными куполами, похожими на конические уборы витязей... Все это осквернено или разрушено. Воронками полутонных бомб изуродована площадь. Изрешечен очередями мазепинский дворец и собор с золотыми куполами. Украдена серебряная сабля гетмана Богдана Хмельницкого из-под разрушенного купола старого музея... Загажен столетний парк и осквернена слава народа, добытая честным трудовым потом, кровью и самоотверженностью прадедов.

При воспоминании об этом кровью обливается сердце. Что может быть плачевнее судьбы человека, родной угол которого уничтожен? Что может быть печальнее тоски по милым улочкам и тропинкам, по которым ты бежал в детстве, катая деревянный обруч или взметая до небес змея из разноцветной бумаги? Казалось бы, такова война и судьба всех городов, на которых оставила свой след жестокая неумолимость. Но судьба Чернигова особенно страшна. Его не только сожгли, не только уничтожили, но превратили в свое-



### *Улица развалин*

**Н** а том месте, где когда-то стоял город Чернигов, в садах и цветниках, родивших великого поэта человеческого счастья Михаила Коцюбинского, высоко громоздятся обгоревшие стены и руины когда-то красивых строений. Города нет. Он растоптан железной ступней изверга, не имеющего жалости и снисхождения ни к живому, ни к мертвому.

Война прошла по крышам тысяч улиц. Сотни городов сожжены и уничтожены. Но то, что произошло в Чернигове, не найдет себе примера в позорной книге коварства и жестокости.

Я верю, настанет час и все забудется. Город восстановят руки строителей. Мирный и светлый, он будет вновь сиять и красоваться в веках. Но больше никогда он не восстанет из праха таким, каким был когда-то, ибо в том-то и состоит печальная сторона прекрасного, что, будучи уничтоженным, оно уже никогда не может быть повторено или восстановлено в точности.

Большая квадратная площадь в центре города, выложенная клинкером... Дворец Мазепы в старом тенистом парке над Десной... Старый собор с золотыми остроконечными куполами, похожими на конические уборы витязей... Все это осквернено или разрушено. Воронками полутонных бомб изуродована площадь. Изрешечен очередями мазепинский дворец и собор с золотыми куполами. Украдена серебряная сабля гетмана Богдана Хмельницкого из-под разрушенного купола старого музея... Загажен столетний парк и осквернена слава народа, добытая честным трудовым потом, кровью и самоотверженностью прадедов.

При воспоминании об этом кровью обливается сердце. Что может быть плачевнее судьбы человека, родной угол которого уничтожен? Что может быть печальнее тоски по милым улочкам и тропинкам, по которым ты бегал в детстве, катая деревянный обруч или взметая до небес змея из разноцветной бумаги? Казалось бы, такова война и судьба всех городов, на которых оставила свой след жестокая неумолимость. Но судьба Чернигова особенно страшна. Его не только сожгли, не только уничтожили, но превратили в свое-



образный музей жестокостей и изуверств. В других разрушенных фашистами городах, оставшихся далеко в тылу их фронта, кое-что убирается, кое-как зализывается. До черниговских руин не разрешено дотрагиваться. По приказу германских генералов этот город должен быть «украинской Помпеей», памятником «мощи германской авиации». Они мечтают о том, что их отпрыски будут когда-нибудь прогуливаться среди черниговских развалин, самозабвенно провозглашая хвалу воздушному флоту маршала Геринга, так же, как сами они теперь расхаживают по итальянской Помпее с бесплатными билетами для немцев, восхищаясь силой и мощью Везувия.

Они устроили этот музей. Они ходят и восхищаются своей мнимой мощью. В городе расставлены столбы с табличками на углах бывших улиц и площадей. Вот улица Развалин. Вот улица Камней. Вот площадь Смерти...

Да, человека, который придет сюда, бросит в холодный пот. Как бы он ни был настроен, он подумает: до чего ж велико могущество тех, кто в один день разрушил такой город! Но если этот человек узнает правду, то его ужаснет не мнимое могущество, а невообразимое коварство, не мощь и беспощадность, а подлость, пущенная в ход бессильной злобой и тупым озверением для того, чтобы обмануть людей.

Я был в Чернигове 3 августа 1941 года. Город был пышен в своей естественной красоте, в своем бирюзовом наряде осенних небес и синей, еще по-летнему сверкающей Десны. Вокруг шла война. Уже был полусожаден Киев. Через древнейшие его купола с шипением и свистом перелетали снаряды. Уже был разгромлен Нежин, сожжены Бахмач и Шостка. С разных сторон

теплый ветерок доносил гулкие раскаты недалеких разрывов, а когда ветерок усиливался, то в его свежести можно было ощутить легкую примесь гари.

Но в Чернигове царила удивительная тишина. Почему гитлеровские летчики ни разу не прилетали в Чернигов? Неужели им не было никакого дела до этого города, стоящего на стратегическом пути их будущего продвижения? Гомель был уже занят, и войска фельдмаршала фон Бока шли прямо вдоль клинкерного шоссе к Чернигову. С другой стороны фашисты форсировали Днепр у Остра и как будто отрезали Чернигов с юга. Но сам он не испытал даже малейшего влияния войны и остался тихим оазисом среди просторов, превращенных войной в пустыни.

В чем был секрет? Мы разгадали его только потом, когда узнали, какую горькую судьбу Гитлер уготовил Чернигову, не только стерев его с лица земли, но и сделав вывеской и рекламой своей бесчеловечности.

Днем 23 августа над городом появился первый вражеский самолет. Люди, еще питавшие иллюзии, заматались по улицам. Все поняли, что настал и их черед. Все с трепетом прислушивались к нараставшему осиному звону самолета, ожидая момента, когда раздается первый взрыв.

Но взрывов не последовало и в этот день. Сделав два круга над городом, самолет улетел на запад, и население с радостью услышало по радио о том, что опасность воздушного нападения миновала. Чернигов и на сей раз был пощажен, и люди с облегчением вышли из щелей и подвалов.

Но, взглянув в лазурное небо, все увидели высоко

вверху серебряные мигающие точки. Их было очень много и, медленно опускаясь к земле, они играли на солнце переливающейся белизной, как мотыльки.

Это были листовки. Через несколько минут они начали падать на огороды и сады, на крыши домов, на площади и улицы. За ними гонялись ребяташки, их ловили женщины. Сначала их уничтожали, рвали на клочки, думая, что там содержится обычная для немцев глупая пропагандистская стряпня. Но скоро пронесся слух о том, что в листовках напечатано важное сообщение, которое должен прочесть каждый житель Чернигова.

Германское верховное командование извещало население города Чернигова о том, что 26 августа, то есть через три дня, ровно в 12 часов пополудни, город будет уничтожен с воздуха и что все, желающие спастись, должны уйти в окрестные леса.

Черт возьми, это казалось загадочным. С каких это пор фашисты стали беспокоиться о благополучии ненавистных им советских людей? Почему они решили не только предупредить их о грозящей опасности, но и дать возможность уйти из города?!

С другой стороны, было совершенно непонятно, зачем гитлеровцам бомбить и даже уничтожать Чернигов теперь, когда город почти в кольце, войска и даже орудия противовоздушной обороны из него эвакуированы и сам он теперь не представляет собой барьера на пути их продвижения. Было время, когда в городе стояло много частей, когда вокруг базировалось много самолетов... Но не тогда, а именно теперь фашисты решили излить свою ненависть на крыши мирного города.

Повсюду пошли толки. Большинство сошлось на

том, что все это провокация. Многие думали, что, так как в городе трудно перебить людей, то гитлеровцы решили их выманить на дорогу. Конечно, самолеты прилетят не двадцать шестого, а в любой день, когда население выйдет в степь.

Но нашлись отдельные люди, уверовавшие в «милость» врага и в «правдивость» всего того, о чем фашисты сообщали в листовках. Как всегда в подобных случаях, нашлись шептуны и советчики, в большинстве случаев — прямые вражеские агенты, которые убеждали население уйти из города, и если кто не верит Гитлеру, то уйти ночью, когда самолет не может обнаружить человека. Этот совет показался разумным и ему последовало большинство: ночь могла быть надежной гарантией,— и к вечеру город двинулся с места.

По улицам во все концы покатались телеги и тачки, пошли вереницы женщин и детей. Старухи несли грудных малюток, матери тащили мешки с убогим скарбом. Люди гнали скотину... На улицах стоял рев коров, блеяли овцы... Шли в разные стороны — кто куда. Люди спешили, толкались, все старались успеть за ночь уйти как можно дальше в леса, где, казалось, уже ничто не могло поразить спрятавшегося человека.

В таком суетливом бегстве прошло две ночи. Ни двадцать четвертого, ни двадцать пятого вражеские самолеты над городом не появлялись. Двадцать шестого августа, сидя в чащах черниговских лесов, люди с самого утра начали следить за горизонтом. Все были молчаливы и угрюмы, мало кто позволял себе промолвить слово, высказать свою робкую догадку. Все трепетно ждали, чем кончится эта смертельная и непонятная игра.

Когда стрелки часов начали приближаться к двенадцати, напряжение стало особенно сильным. Если глаза на миг отрывались от Запада, то только для того, чтобы бросить прощальный взгляд на Восток, туда, где еще цвел зеленью садов и белизной каменных построек их родной, их обреченный Чернигов. Разговоры совершенно умолкли, и случайно заплакавший младенец вызывал гнев и шиканье взрослых: все превратилось в слух, собираясь уловить гул самолетов, которые вот-вот должны были появиться.

Но стрелки часов коснулись друг друга, и момент их встречи не стал роковым. Пробил еще час. Пробыло еще два часа... Очевидное и радостное крушение пресловутой немецкой пунктуальности вызывало улыбки одних и горькие замечания других. Что это было — издевательство над нервами слабых женщин или еще более изощренное, еще более искусное коварство? Что это было — вдруг возникшее желание пощадить Чернигов или решение уничтожить его через час?

Кто-то, очевидно из числа тех же гитлеровских ставленников, с блаженной улыбкой хриstopродавца высказал догадку, что это, мол, дают им еще добавочное время на тот несчастный случай, если кто-нибудь задержался в городе. Как мы увидим потом, эта догадка соответствовала действительности. Фашисты боялись, что в городе остались люди, которые смогут тушить пожары. В этом случае Чернигов мог бы быть спасен и мощь авиации Геринга не была бы продемонстрирована с полным «блеском».

К трем часам дня город совершенно опустел. На улицах можно было встретить лишь унылые фигуры больных, разбежавшихся из эвакуированного дома умалишенных. Их изодранные белые халаты как-то

особенно трагично гармонировали с вопиющей могильной тишиной еще целого и цветущего, но уже мертвого города. Их блуждающие глаза, бессмысленные жесты, дикие гримасы и возгласы уже ни на кого не наводили ужаса. Город был страшен в своем предсмертном молчании, умирающий город, носящий на себе следы той последней увядающей красоты, которая иногда вспыхивает и на лице умирающего человека.

В четвертом часу появились эскадрильи бомбардировщиков. Они шли эшелонированными звеньями на небольших высотах, методично и холодно сбрасывая груз. Они возвращались на свои базы, чтобы через полчаса снова прийти к Чернигову, на смену тем, кто уже отбомбился. Они сбрасывали в основном зажигательные бомбы, так как знали, что город некому тушить и Чернигов сгорит дотла, как факел. Они начинали с окраин и постепенно подвигались к центру с таким расчетом, чтобы никто не мог бежать сквозь кольцо огня, опоясавшее город, если не ушел прочь вовремя. Они жгли безнаказанно, опускались до бреющего полета и, медленно разворачиваясь, парили, как отяжелевшие коршуны.

Только теперь, когда наблюдавшие за этой дикой расправой над их мирным городом черниговцы увидели, что убийство холодно рассчитано, гнев вскипел в сердцах и ненависть примешалась к жалости и слезам. Город пылал, как костер. А они, обманутые и жалкие, находились вдали от него в эти страшные минуты. Стыд и обида были так велики, что лишали даже осторожности. Достаточно было робкого призыва одного человека, чтобы тысячи людей в неудержимом порыве выбежали из лесов и по всем дорогам устремились туда, где бушевал огонь, пожирая их родные очаги.

И этот призыв раздался. Был ли это голос человека, в котором заговорила совесть, или вопль подлеца, решившего еще раз предать обманутых людей? Ведь теперь горю нельзя было помочь. Стена огня, как крепостной вал, отделяла гибнущие здания от тех, кто хотел их спасти. Запоздалое раскаяние не могло помочь, ибо никто не сумел бы прорваться сквозь пламя.

Но в безотчетном порыве не следует искать рассудительности. Да и найдись человек, который стал бы объяснять тщетность любой попытки спасти город, его бы сочли предателем или гитлеровским шпионом и растерзали бы на куски. Люди побежали по дорогам, запрудили все вокруг, мчались, не помня себя и не чувствуя усталости. Перед глазами был только горящий город, их святой и благословенный приют, их древний Чернигов...

И тут-то начался второй акт грандиозного предательства. Кто знает — возможно, и он был предусмотрен заранее! Самолеты ринулись на толпу бегущих черниговцев. Они засыпали их разрывными пулями, целыми кассетами мелковетных бомб. Они спускались до самой земли и, наводя страх и ужас, мчались над затравленными и мечущимися людьми, едва не задевая их крыльями. Они выли своими пропеллерами и адскими сиренами. Теперь все понимали, почему фашисты были так «добры» и заранее известили о предстоящей расправе. Все понимали, но сделать уже ничего не могли.

На следующий день, когда пламя отбушевало и деревянный город сгорел, мы сидели вдвоем со старухой у ее догорающего дома.

— Нет, не надеются они здесь хозяйничать, если так поступают, — воскликнула старуха. — Разве стали

бы они уничтожать город, если бы думали им владеть!

Старуха ошибалась. Гитлеровцы надеялись владеть. Бессильные «завоеватели вселенной», они хотели запугать будущие поколения, воздвигнув себе памятник из вопиющих и зияющих развалин.

Но памятник им будет не таков — когда-нибудь мы воздвигнем его сами. Мы создадим его из ненависти к неправде, из презрения к насилию и злу. Этот памятник будет жить века и никогда не позволит нам забыть о былом кошмаре. Он будет напоминать, и человечество будет всегда помнить.





### *Киевские каштаны*

**В** Киеве расцветают каштаны.  
По улице Ленина, на Владимирской горке, во-  
круг знаменитых киевских парков и садов рас-  
пространяется еле уловимый терпковатый аромат.  
Парки полны серебром, стройные башни деревьев на-  
рядны и величественны. Киев разодет в изысканный  
весенний наряд.

Но необычны этой весной улицы в нашем родном городе! Фатоватый обер-лейтенант идет по Крещатику, хлопая по лакированному голенищу гибкой, только что сломанной веткой. При каждом его движении на землю осыпаются нежно-розовые лепестки: обер-лейтенант помахивает веткой каштана, с обидным безразличием сломанной тут же на улице.

Проходит грустная молодость киевских садов. Лепестки осыпаются на пыльные мостовые неподметенных улиц. Пышными цветами в эти дни любят себя изможденные люди с воспаленными глазами. Киевляне, так трогательно влюбленные в свой родной город, в свои улицы, в свои сады, ходят, боязливо оглядываясь,— нет ли поблизости эсэсовского дикаря, который способен мимоходом оскорбить, ударить или просто пристрелить человека?

Когда-то при встрече с путешествующим иностранцем мы удивленно восклицали:

— Как! Вы не бывали в Киеве весной? Вы не видели цветущих киевских каштанов?!

Встретив ныне земляка, мы таинственно улыбаемся:

— Вы слышали о наших киевских каштанах? Помните, там над Днепром...

\* \* \*

В Нагорном районе Киева, называемом Липками, у обрыва над самой рекой выросла красивая группа деревьев. Рассаживая некогда заботливой рукой по небольшой правильной окружности, она образует теперь плотную стену стволов, прикрытую изумрудной

лиственной крышей. Раскинувшиеся за Днепром степи видны отсюда далеко. Свежий воздух днепровской долины, чистый и одурманивающий запах черниговских лесов долетает сюда без примеси пыли и копоти, которой так много во всех других городах.

Киевский старожил не может прожить и дня без того, чтобы хоть на мгновение не остановиться у крутого обрыва. Привычка, ставшая потребностью, одинаково свойственна всем — солидному депутату, спешащему на сессию Верховного Совета, случайному прохожему, совершающему вечернюю прогулку, или обнявшейся и медленно бредущей влюбленной парочке.

Даже и теперь киевлянин не может расстаться с этой привычкой, хотя он давно уже принужден забыть о многих своих потребностях. Враг отнял у него все, кроме красоты родного города, кроме трогательной прелести, которая таится даже в развалинах, даже в пепелищах родных и знакомых улиц. Есть, оказывается, вещи, которых не в силах отнять даже он!

В это весеннее утро всех, кто оказался поблизости, потрясло страшное зрелище. Даже издали нетрудно было заметить, что прекрасная группа каштанов, стоящая над обрывом, выглядит не совсем обычно. Глаз, уже давно привыкший к яркой зелени над могучими стволами, отмечал какие-то странные пятна на кронах, а внизу непривычную суету.

Но стоило подойти поближе, и все становилось ясно: по всему кругу на деревьях висели люди. На груди у каждого была приколот бумажка с размашистой надписью «партизан».

Стоило, однако, лишь взглянуть на суетившихся внизу женщин, чтобы сразу определить, над кем про-

извели немцы очередную расправу. Казненные под видом партизан вовсе не принадлежали к разряду тех грозных народных мстителей, которые ушли в окрестные леса, чтобы с противотанковыми гранатами в руках нападать на воинские эшелоны и моторизованную пехоту гитлеровцев. Нет, их промасленные спецовки говорили о другом. Это были люди, которые просто не слишком самоотверженно работали на скороиспеченном авторемонтном заводе. Их повесили за саботаж. Обнаглевшие победители, видите ли, недовольны были тем, что советские люди, превращенные в рабов, работают на них с недостаточным рвением.

Поразило, однако, в это утро киевлян и другое обстоятельство: их честные земляки висели на цветущих киевских каштанах. Это было так многозначительно и так страшно... Белые, ослепительные, праздничные костры из цветов, так ясно напоминавшие о далеких днях покоя и счастья, и страшные качающиеся трупы замученных, возвращающие в такой реальный и такой отвратительный мир...

Город зловеще замер. По солнечным улицам расхаживали теперь только тыловые офицеришки, хлопая себя по начищенным голенищам свежими ветками и, как всегда, рассыпая при этом еще живые лепестки каштана. Население как бы вымерло, как бы погрузилось в еще более угнетающее небытие. Могло сложиться впечатление, что город находится в удивительном всеобщем заговоре молчания, грозящем в любую минуту разразиться бурей, как всегда в подобных случаях неукротимой и страшной.

Но население по-прежнему продолжало молчать. Улицы были пустынные. Гитлеровцы могли считать, что достигли цели и навсегда запугали киевлян.

Однако в эти дни началась удивительная, молчаливая, но упорная борьба города с его поработителями, борьба, завершившаяся в конце концов блестящей и поразительной победой.

Прошло несколько дней с момента казни. И вдруг в одно весеннее утро на месте немецкой надписи «Партизаны» появилась другая надпись: «Отомстим за наших товарищей». Кто были смельчаки, сделавшие ее? Рабочие, товарищи повешенных? Но ведь они выглядели побежденными жестокостью оккупантов. Кто же другой осмелился бы так громогласно заявить о себе в этом городе, где все живое казалось раздавленным навсегда?

Удивительная вещь! Откуда узнал город о новой надписи на каштанах у днепровского обрыва? В эти дни никто сюда не приходил, но о событии известно стало сразу, и люди, как бы уговорившись, высыпали на улицы. Осторожно, поодиночке, стали они снова подниматься на Липки, проходить как ни в чем не бывало мимо знаменитых каштанов, любоваться с обрыва разлившимся Днепром. Никто не смотрел в ту сторону; все знали, что если сейчас и нет новой таинственной надписи, то лишь потому, что фашисты, взбешенные удивительным приключением, сорвали ее и прикрепили старую. Но все счастливо улыбались, зная теперь наверняка, что в городе есть мстители, есть защитники, есть люди, не испугавшиеся гитлеровского террора.

Это был уже новый заговор целого города. Это был заговор радости, заговор предчувствия, заговор предвкушения близкой победы. Люди впервые за много недель начали улыбаться друг другу, это были улыбки заговорщиков. «А вы видели надпись на де-

ревях»? — казалось, говорили улыбающиеся люди, лукаво глядя друг другу в глаза.

Да, видели! Все видели! Все слышали и знали! Все торжествовали эту, пока что маленькую, победу. Многие, особенно любознательные или недоверчивые, поднимались чуть свет, чтобы взглянуть собственными глазами, и, убедившись в том, что война продолжается и что сегодня, как и вчера, неизвестные храбрецы снова водрузили свою призывающую надпись, торжественно возвращались и рассказывали об этом знакомым.

Но оккупантам это было не по душе. Удивительно ли: ведь в них говорило не только предчувствие опасности, но и уязвленное самолюбие. Как! В такой дали от фронта! В Киеве, где после известных взрывов все казалось хотя бы внешне спокойным! Где они приложили столько сил, чтобы навязать населению свой пресловутый «новый порядок»!

Их ухищрения были напрасны: они устраивали засады у обрыва, но утром находили гитлеровских шпионов связанными, с кляпами во рту, и вместо немецкой надписи все равно красовалась советская. Они привезли породистых ищеек, собираясь при помощи собак восстановить свое попранное самолюбие, но ищейки оказались отравленными в самом здании гестапо на улице Толстого.

Лучше всего было бы для фашистов снять трупы с каштанов, но это могло выглядеть как полное признание их бессилия. Пообещав в день казни, что повешенные будут висеть до тех пор, «пока их не съедят собаки», они очень страстно желали довести дело до конца.

Надпись появлялась с удивительным постоянством.

И вот в один прекрасный день у знаменитых каштанов были выставлены часовые.

Теперь по крайней мере захватчики, казалось, были гарантированы от нового появления таинственной надписи. Однако следующее утро готовило Киеву новую, еще более удивительную неожиданность.

Все понимали, что борьба не окончится так просто и что часовые не станут помехой храбрецам. Но если бы спросили у сотен тысяч киевлян, что произойдет этой ночью, то вряд ли кто-либо предугадал бы ход событий.

Каштаны все еще не сбрасывали своего цветения, своего не по времени роскошного убранства. Дым осенних пожаров давно рассеялся, и над городом царил пряный весенний запах — чуть терпковатый, но тонкий и опьяняющий. По-прежнему серебрились конические кроны деревьев над Днепром, привлекая очарованных киевлян своей красотой и легкостью. По-прежнему люди по утрам брели туда, к крутому обрыву, где под надежной охраной висели позеленевшие от солнца трупы.

Но первое, что еще издали поразило приближавшихся, — это странное отсутствие часовых. Неужели гитлеровцы больше не опасались настойчивости неизвестных мстителей? Это было настолько удивительно, что все ускоряли шаги и спешили к обрыву, торопясь в этом убедиться.

И люди увидели, что вместо трупов киевских рабочих на каштанах висели часовые, так старательно охранявшие их. На месте старой надписи на сей раз была прикреплена совершенно новая, аккуратно написанная красной краской, очевидно, заранее. «Тремтїть, недобитки ворожі!» — гласила она. Слова из

известной боевой песни здесь подошли как нельзя лучше.

Теперь киевляне улыбались уже не с видом заговорщиков, а с деловитостью соучастников. «Да, весна началась в нашем родном городе с дела!» — говорили их улыбки.

Люди быстро уходили прочь. Им все было ясно. Теперь свежие, осыпавшиеся этой ночью лепестки уже не вызывали жалости. Это были лепестки соучастников, цветы мстителей.

1942





## *Рассказы о Ленине*

### *Подарок от Ленина*

Это было у Днепра. В том благодатном краю есть непроходимые леса, сырые и сумрачные, вечно зеленые и таинственные. Они прислушиваются к звонкому журчанию холодных родников и стоят стройно и величественно, как армия.

Один из таких лесов был окружен немецкими фашистами. Он содрогался от оружейных раскатов, трепетал всеми своими ветвями и после каждого удара рычал, как могучий, но раненый лев.

В лесу скрывались остатки знаменитой карпенковской роты, пробравшейся в гитлеровский тыл и натворившей немало неприятностей самодовольным оккупантам. Седьмой день они выдерживали осаду; не имея пищи и боеприпасов, все без исключения раненые, лежали они на траве, не надеясь ни на какое чудо. Фашисты стояли кругом. По дорогам непрерывной цепью шли их бронированные колонны. Они могли покончить с девятью храбрецами легко, но продолжали бессмысленную осаду, будто перед ними была крепость, а не лес.

Долго ли собирались они тянуть эту напрасную волюнку?

В лес идти гитлеровцы боялись. Они расставили свои танки с трех сторон; с четвертой было бездонное, непроходимое болото — плавни, где даже комары могли съесть человека, где ночная сырость пробирала до костей, погребала заживо.

Надежды на спасение у раненых не было. С простреленными руками, Карпенко, как затравленный, рыскал по лесу. Он напрасно искал выхода из этой западни. Он видел и понимал это отчетливо, и очень жаль ему было молодых, истекающих кровью людей, так храбро дравшихся рядом с ним, но теперь беспомощных, обреченных.

И вот однажды, на рассвете, когда гитлеровцы перестали бить по лесу, совершенно убежденные в том, что храбрецы умерли от голода и ран, вдали послышался равномерный, медленный хруст. Еще слышный

вначале, он все приближался и наконец стал явственным.

Конечно, это были шаги: хрустели сухие ветки под ногами неосторожно идущего человека. Но кто мог идти оттуда, со стороны болота, где, казалось, никогда не ступала человеческая нога? Чего мог искать человек в этом лесу, где для людей все было потеряно?

Патронов не было. Бойцы взяли бескровными руками свои разряженные винтовки и приготовились к встрече незваного гостя. Но из-за деревьев медленно появилась старушка, спокойно направлявшаяся к раненым бойцам. Тяжелая кошелка тянула ее к земле, сгибая, как тростинку.

Старушка на миг остановилась, перевела дыхание и снова пошла. Она подошла к раненым красноармейцам, опустила на землю свою тяжелую ношу и, деловито развязывая полотенце, спросила:

— Живы, сыночки?

— Живы... — нерешительно ответил Карпенко.

— А я вам хлеба принесла и молока... Это от Ленина... — сказала она, с трудом разламывая буханку.

— От Ленина? — изумленно, почти хором произнесли привставшие бойцы.

— От Ленина, сыночки, от Ленина... Хотя и чужеземец у нас, а Ленин жив... Весь, как есть, с вами... — серьезно сказала она и налила первому стакан молока. — Выпей, оно парное.

— А где же Ленин молоко берет? — с былым и вдруг вспыхнувшим озорством улыбнулся Цыган, самый молодой боец в роте. — У него что, коровы свои? — засмеялся он вслух.

— А то как же без коров! — старушка недовольно посмотрела на Цыгана. — Конечно, свои.

Цыган осекся, притих, как наказанный шалунишка.

Бойцы молча пили молоко, зачарованно глядя на насупившуюся старушку. Стояла звонкая летняя тишина, и только изредка откликалась на дубах беспокойная птица.

И вдруг с неожиданной серьезностью, будто даже немного испугавшись своей удивительной догадки, Цыган крикнул:

— Да Ленин-то — это, видать, колхоз? — он даже выплеснул полстакана молока, так ошарашила его эта догадка.

Все посмотрели на Цыгана. Старушка тоже подняла глаза и тихо, почти безразлично сказала:

— Колхоз, а то как же!.. Хоть немец и гуляет, а Ленин у нас жив. Коров-то он в плавнях упрятал.

И вдруг, деловито взявшись за корзинку, старуха почти прикрикнула:

— Ну, хватит баловаться. Там у болота мой старик дожидается. Переоденьтесь и айда к своим. Мой быстро выведет.

И бойцы покорно пошли за нею.

### *Гвардейское знамя*

Трое сидели на завалинке и спорили: на днях их части присвоили звание гвардейской, и они старались представить себе, как будет выглядеть знамя, которое им должны сегодня вручить.

— Будет оно красное и все расшито золотом, потому — люди мы красные и боремся за золотой век.

И будут на нем красивые слова, такие, что за душу хватают, и еще жальче нам станет земли нашей родной, что вшивый гитлеровец топтать смеет, и будет еще сильнее подмывать поскорее перекусить его тощее горло.

Это говорил Сенька Богун, с виду невнушительный, рябоватый, но настоящий красный кавалерист.

Он смотрел высоко перед собою, и в глазах его сверкала красивая, играющая искра — такая, что трудно было ее уловить, но легко и приятно чувствовать.

— А я бы хотел,— произнес сержант Коваль, широкоплечий детина с немецким автоматом на груди,— чтобы на нашем знамени был кулак нарисован и чтобы фашистам скулы сворачивало от одного лишь взгляда на этот кулак. И чтобы слова были на знамени про наш боевой клинок написаны — да такие, чтобы затылок свербел у проклятых фашистов, как только те слова они прочтут.

— Да ведь они по-нашему и читать не умеют! — засмеялся боец Герасименко. — Ведь им хоть пиши, хоть не пиши — толк один. А вот если бы на нашем знамени глаза были нарисованы — чистые, огромные... И чтобы эти глаза глядели бесстрашно и чтобы они упреком и наказанием были... Чтобы не по себе становилось фашисту, как только глянет он в эти глаза... И чтобы ни сна, ни отдыха не знал он, а все видел кровь, пролитую зазря, да детей, на штыки поднятых, да девушек, что своими руками удушил... Чтобы ни спастись, ни бежать от этих глаз нельзя было и чтобы настигали они душегуба везде и по гроб не давали спокойствия.

Заиграла труба, и над всей улицей прозвенела

команда. Это был голос полковника, их боевого командира, первого гвардейца. И когда часть построилась и оркестр сыграл «Интернационал», комиссар, стоявший перед строем, поднял древко, и режущий глаза пурпур почти до самой земли скатился яркой волной.

Комиссар был приезжий. Он произнес призывную речь, а бойцы стояли смирно, равняясь на свое гвардейское знамя. И видели они на красном полотнище большой и знакомый портрет Ленина и читали простые слова: «Союз Советских Социалистических Республик».

В шеренге рядом с другими стояли и рябоватый Сенька Богун, сильный, будто каменный, сержант Коваль и покрасневшийся, еще не преодолевший своего недавнего возбуждения боец Герасименко. И не было больше между ними спора, потому что их знамя было именно таким, какое каждый из них хотел видеть: было оно пурпурное, и в сверкающей бахrome слышался тихий шепот песен о будущем золотом веке; была в нем гроза и угроза врагу, таящаяся в непреложной мудрости живых ленинских мыслей, и сверкали на нем чистые большие глаза, бодрящие воина и устрашающие подлого врага, приводящие его в дрожь и трепет, пронизывающие всепобеждающей и непреодолимой любовью к Свободе и Человечеству.



## *Наши седые матери*

**Я** спускался в погреб по неровным глиняным ступеням, сбитым весенней водой и грубыми каблуками.

Погреба — здесь единственные убежища от дождя и холода. Жители сгоревшего села, оставшиеся в живых после ухода гитлеровцев, устраивались в них надолго, переносили сюда свой убогий скарб, свое разоренное имущество. Погребов было много. Наби-

ваясь в них до отказа, наши бойцы вносили тепло и уют в красные глиняные стены, пахнувшие плесенью и прорастающим картофелем.

Я сразу направился именно к этому погребу, — мне показалось, что оттуда доносилась еле уловимая мелодия. Прислушался: пели тихую трогательную песню.

Сквозь распахнутую дверь мне в лицо дохнуло сладковатое тепло, смешанное с махорочным дымом. Здесь было очень много людей, и хотя я искал, собственно, места, где мог бы хоть на часок прилечь, но в этой тесноте остался без колебания.

При моем появлении песня оборвалась. Бойцы попытались встать, но я попросил не беспокоиться. Когда прошла эта минута неловкости, вызванная появлением старшего по званию человека, в дальнем углу снова запели.

Пели два бойца, им подыгрывал на старенькой гармошке третий. Остальные сидели — кто на корточках, а кто прямо на соломе, расстеленной по земле.

Я край родной  
Не видел много дней,  
Но и оттуда,  
С западной границы,  
Он мне еще был ближе и милей,  
О нем мне часто шептали птицы.  
И видел я родимые места  
И сад родной,  
Что ярким цветом вышит.  
Там за окном блестит квадрат листа,  
И мать сидит  
И что-то пишет... пишет...

Мелодия была грустна и напоминала о многом. Песня рассказывала о сыне, который мечтает встре-



гиться с матерью. Грусть заключалась не в самой мечте, а в ее несбыточности. Другая, большая мать звала сейчас сына — этой матерью была Родина, оскверненная и поруганная, которую должен защитить сын и зов которой был властен и неотвратим.

Мы слушали песню и почти физически ощущали чувства, родившие ее. В углу на красной потертой кровати сидела старая женщина и, кажется, плакала. Для нее этот погреб стал домом с тех пор, как немцы сожгли дом. Но чем была для нее эта песня, и она ли растрогала до слез старое, ослабевшее женское сердце?

Песня окончилась, и под сводами неуютного убежища снова воцарилась зыбкая тишина. Бойцы собирались с мыслями. Сейчас это было не легко, молчание затянулось.

— А кто эту песню сложил? — спросил я.

Все посмотрели на меня; ответ последовал не сразу. Наконец из дальнего угла раздался голос только что певшего бойца:

— Я, товарищ подполковник.

Это меня не удивило. Человек, умевший так глубоко взволновать своим сердечным пением, мог, конечно, и по-настоящему глубоко чувствовать.

— А матери своей вы послали песню?

— Матери? Да ведь она читать-то не умеет. Вот войну окончим, тогда я ей спою.

И он начал рассказывать о своей матери. Это был обычный рассказ о женщине, взрастившей своих сыновей и не требовавшей за это никакой награды. Все смеялись, когда он рассказывал о том, как, провожая на фронт, она перекрестила его и даже пыталась надеть на шею крестик.

— В бога она не верует,— сказал он,— сама не раз признавалась. А вот ежели такой момент случится, обязательно перекрестит. «Ведь не веришь,— спрашиваю, бывало,—зачем же крестишь?» — «Да так, на всякий случай,— отвечает она,— а вдруг бог есть на небе, пускай заступится».

Все смеялись, добродушно подтрунивали над безобидной материнской хитростью, и только сосед мой, высокий черноглазый старшина, молчал и сосредоточенно смотрел в одну точку. О чем думал он? Может быть, отвлекли его мысли о своих бойцах, а возможно, думы его витали сейчас далеко — на родине, по которой гулял пьяный фашист?

— А моя-то старушка какова! — воскликнул маленький красноармеец с добродушной, задорной улыбкой.— Я давеча письмо получил от нее...

И он развернул треугольный самодельный конверт и стал читать неровные строчки с большими буквами.— «Я на заводе теперь работаю, снаряды для фронта пакую. Вчерась ходила в соседний цех смотреть: больно интересно было мне знать, какую машинку в эти снаряды кладут, что они такую силу имеют. Видеть-то я ничего не увидела, потому — начальник цеха объяснил, что это секрет и моему бабьему языку доверен быть не может. Но утешил он меня, родимый, что сила страшная и фашисту жизни не даст».

— Ишь, ведь какая любопытная! — с восхищением воскликнул кто-то.

Маленький добродушный красноармеец продолжал чтение: «Володька, в один ящик уложила я снаряд специально для тебя, на нем так мелом и написано. Уж ты, смотри, этот самый снаряд от моего имени в Гитлера выпали. Пусть, гадина, узнает, кто мы с

тобой такие и какая сила у нас в руках. Гляди, Володька, только не пропусти моего снаряда».

Письмо вызвало у всех неудержимый взрыв смеха. На этот раз улыбнулся и мой сосед, угрюмый черноглазый старшина. Но его улыбка показалась какой-то вынужденной, сдержанной.

— Счастливые вы люди,— тяжело вздохнул он и снова на мгновение умолк.— Есть у вас о чем вспоминать. И матери ваши о вас думать могут... А вот у меня несчастье, братцы,— и он вытащил из кармана помятый газетный лист.— Вот где мать-то моя,— сказал он дрожащим голосом и отвернулся.

Внимание всех приковала к себе страшная фотография: на ней были изображены тела замученных жителей одного села. На переднем плане головой к зрителям лежала старая женщина. Страшные муки отразились на ее добром лице.

— Она, как есть! — в ужасе воскликнул рыжеволосый красноармеец — односельчанин и сверстник старшины.

— А может, и не она, может, только личность похожа,— возразил другой, не имевший никаких аргументов, но очень хотевший утешить хоть чем-нибудь своего товарища.

Старшина молчал, его ничто не могло утешить. Видно, не первый день носил он в кармане этот измятый лист, не первый день таил в душе свое великое горе.

И вдруг со старой кровати встала женщина — хозяйка этой сырой ямы. Переступив через ноги сидевших на земле бойцов, она подошла к старшине.

— Сынку,— сказала она тихо и нежно,— твоя мать счастливая. У нее сын живой, ты за нее ото-

мстишь. А мой сынок... — мгновение она помолчала, затем вынула спрятанную на груди бумажку и протянула ее старшине. — Вот мой сын, — произнесла она каменным голосом.

Старшина приподнялся; он стоял растерянный и почти беспомощный перед лицом этого большого горя. Он осторожно развернул бумажку. В ней извещалось о том, что боец Иван Нечипоренко, награжденный орденом Красной Звезды за доблесть, проявленную в боях с немецкими оккупантами, погиб смертью храбрых в бою у Донца 12 апреля 1942 года.

— Кто же за меня отомстит, дети мои! Я-то ведь слаба, сил у меня нету.

Несколько человек разомкнули сжатые уста, чтобы утешить ее, но торжественность этой минуты нарушил вошедший лейтенант.

— Выходи по одному, — тихо сказал он и вышел первым.

Все взволнованно засуетились. Звякнул чей-то котелок, зашуршала солома, смятая под тяжестью порывевших шинелей. Дверь скрипнула на ржавых петлях, тяжело качнулось пламя тусклой лампы, хватившее желтым языком воздуха холодной весенней ночи.

Бойцы знали, что сейчас начнется наступление, но волнение, вызванное предчувствием боя, не подавило чувства, рожденного словами зовущей к отмщению матери. Даже теперь в ушах каждого звучали ее плачущие слова: «Кто ж за меня отомстит?» И неумолкающим эхом откликалось в сердцах: «Мы... Мы!»

И руки еще сильнее сжимали винтовки, твердые, как это решение, сильные, как эта воля.

1942



## *Искупление мужеством*

**Р**ассвет был розовый, и туман, стлавшийся над степью, похож на легкую, волнистую кисею. В поле стояла тишина. Снизу, с Дона, тянуло пронизывающей сыростью. Дыхание осени чувствовалось и в дуновении предутреннего ветерка, и в легкой желтизне онемевшего леса, и в этом сыром тумане, окутавшем весь горизонт.

Боец Островский шел на восток. Он был утомлен и голоден. Руки его бессильно висели вдоль туловища, и шел он, как слепнувший: то спотыкался, то вдруг, поймав себя на этом, неестественно твердо ставил ногу. Будто придавленный тяжелым горем, шел этот юноша, никогда прежде не знавший толком, что такое настоящее горе и велика ли его тяжесть, если оно навалится на человека.

Он подошел к политруку своей роты, стоявшему возле штабного блиндажа у самого Дона, и совсем не повоенному, непривычно вяло, почти шепотом произнес:

— Я, товарищ политрук, очень... очень виновен...

Политрук Новаченок внимательно посмотрел на Островского и ничего не сказал. Он понял, что случилось что-то необычное. Непохоже это было на Островского, парня задорного, даже иногда склонного к озорству.

— Мой пулемет... там он остался,— произнес боец, боясь посмотреть в глаза политруку.

— Бросил? — резко спросил политрук, вдруг поняв все.

— Бросил,— уже без колебаний ответил боец, подняв глаза и глядя в упор на политрука. Он почувствовал облегчение от того, что самое страшное слово было наконец произнесено.

— Умри, но добудь! Понял? — сказал политрук и сделал шаг к блиндажу.

— Всю ночь искал... Нет его...

Островский протянул руку вслед политруку, как бы умоляя не уходить.

— Что ж, прикажешь другой тебе выдать? — почти крикнул тот, остановившись, но не оборачиваясь.— И второй хочешь фашистам оставить?

Политрук ушел. Островский стоял один, опустив ослабевшие руки.

Да, он все понимал. «Умри, но добудь!..» Эти слова звучали в сознании Островского, не умолкая. На мгновение ему показалось, что не стоило докладывать политруку о своем позоре. Но он тут же освободился от этого сомнения. Нет, он поступил так, как должен был поступить. Совершив одно преступление, нельзя было совершать второе. Это хорошо, что он нашел в себе силы сам обо всем доложить. Хорошо, что не испугался ни кары, ни гнева и пошел к политруку, чтобы получить по заслугам. Значит, он еще не совсем потерянный человек.

Мысль эта немного оживила Островского, и он зашагал в обратный путь. Он шел по знакомым тропкам, среди знакомых кустарников, среди бугорков, где вчера вечером ползал на животе. Каждый камушек, каждый пенек напоминал ему о вчерашнем грехопадении. Хотелось как можно быстрее пройти эти места, скорее отделаться от всего, что могло напомнить о его позоре.

Как все это произошло? Почему он бросил свое надежное оружие и ушел на восток? Ведь никто, кроме него, не дрогнул, не побежал. Ведь рота не отошла, а, наоборот, выбила врага и заняла его рубеж.

Ответ был один, простой и жестокий: он трусил! Он испугался гитлеровских танков, которые шли на роту и с которыми рота справилась без него.

Но где это произошло? Возле какого бугорка, в какой воронке остался этот злополучный ручной пулемет?

Островский вновь начал поиски, но его сразу же обстреляли. Фашисты были близко и наблюдали всё,

что происходило впереди. Днем искать было невозможно, тем более, что он демаскировал позиции других бойцов, и его крепко ругали. К свистящим вокруг пулям он сначала был совершенно равнодушен. Ведь политрук сказал: «Умри или найди!» Значит — пусть хоть убьют, ведь это тоже будет решение вопроса. Но потом к нему вернулось трезвое сознание. «Каждый дурак сумеет умереть. Надо сначала отыскать пулемет», — подумал он и отполз в лес.

Островский решил переждать. Он пролежал в лесу до конца дня, усталый и голодный, но твердо убежденный в том, что надо найти пулемет или погибнуть. Вокруг передвигались люди, шумел лес, веял прохладный ветерок. Это его как бы не касалось. Его жизнь впервые предстала перед судом его совести.

Когда-то Островский был беспризорником. Он рано потерял отца и мать, попал на воспитание в руки улицы. Он любил поозорничать, даже похулиганить. Однажды его судили, и он отбывал кару в трудовой колонии... Он ходил с финкой, которой ни разу никого не пырнул, но которая среди его братвы считалась признаком бесшабашной удали. Да, он был храбр там, на улице, среди раболепно покорявшихся ему мальчишек. Но вот здесь, где храбрость была необходима во имя высоких и уже доступных его пониманию идеалов, он оказался малодушным и низким животным. Он это понимал и готов был плюнуть себе в лицо...

Ночь наступила холодная и ветреная. Было совершенно темно, накрапывал отвратительный промозглый дождик. Эта темнота привела Островского в уныние, — ведь найти пулемет почти не было никакой надежды. Но его утешал сильный ветер, порывы кото-



рого были так шумны, что могли скрыть любые шорохи от ушей неприятеля. В такую ночь можно было ползать без особого риска обнаружить себя.

В эти минуты и часы Островский был необычно рассудителен и трезв, что удивляло его самого. Возможно, причиной этого было твердое решение исполнить во что бы то ни стало приказ политрука, даже ценой жизни. А может быть, первое несчастье, прочувствованное с большой остротой, сделало его способным замечать в себе такие тонкие душевные движения, которых он никогда не замечал раньше.

Темнота скрадывала очертания кустов и деревьев, делала все попадавшееся на пути одинаково черным и непроницаемым. Она лишала мир того минимального разнообразия вещей, которое могло бы отвлечь человека от самого себя. Время становилось невыносимо тягостным, ночь такой длинной, что, казалось, нельзя было ее пережить. Он полз вперед, зная, что находится уже в непосредственной близости к противнику. Он был совершенно безоружен, но полз все дальше.

И вдруг на фоне неба и kloкотавших на нем туч он увидел такую же черную, почти сливающуюся с небом фигуру. Да, это был человек и, безусловно, противник! Снизу, с земли, Островский мог видеть, как тот недвижно стоял, будто боясь в эту ночь своих собственных движений. Очевидно, это вражеский секрет. Заметить его можно было только с такого короткого расстояния, с какого смотрел на него Островский. Отползи на три шага — и человек исчезнет во тьме этой чернильной ночи.

Но Островский не отползал. Он не боялся врага и видел его совершенно отчетливо. Что-то словно при-

ковало Островского к земле. Он понял, что наступил момент, когда можно искупить свой позор. У часового непременно есть пулемет или автомат, и хотя это оружие немецкое, но добыча все же частично окупит потерю. И он начал всматриваться в темноту, выбирая момент, когда лучше напасть. Он лежал долго, не отрывая глаз от часового, а время тянулось еще тягостнее, чем раньше.

Наконец, нужное мгновение наступило...

Через несколько минут у ног бойца лежал фашист, задушенный его рукою. Еще не отдышавшись после короткой, но страшной борьбы, Островский повесил себе на шею добытый ручной пулемет и, не прячась, во весь рост пошел к своим. Он не радовался удаче и не боялся все еще не исчезнувшей опасности. Он ни о чем не думал. Пальцы его впивались в холодную сталь, как несколько минут тому назад в горло врага. Он был еще весь во власти того невыразимого состояния, которое овладевает человеком, когда он впервые вплотную схватывается с врагом и убивает его. Он шел будто в пустоту, спотыкаясь, но не замечая этого. Не выбирал дороги, а шел напрямик, ничего не видя и ничего не чувствуя. Но тем не менее он двигался точно в том направлении, где располагалась его рота. Он вошел в блиндаж, показал пулемет политруку и рассеянно произнес:

— Вот...

— Да это же не твой! — всмотревшись, воскликнул политрук. — Где ты его взял?

— Это немецкий, я у немца отнял.

— Немецкий?

Политрук удивленно взглянул на бойца.

— Какой же это немецкий?! Посмотри-ка! Обык-

новенный советский ручной пулемет. Видно, такой же герой, как ты, бросил...

И тут только Островский взглянул на свою добычу. Господи, ведь пулемет был действительно советский! Уж не задушил ли он своего человека, своего бойца? Но ведь он отполз так далеко, где своих быть не могло... Охваченный безумным страхом, он засунул руку в карман и вытащил документы, добытые у убитого. Дрожащими руками разворачивал он бумаги, боясь на них взглянуть. Но все было написано на чужом языке.

От сердца отлегло. Задушенный, конечно, был гитлеровцем. Вот его солдатская книжка, вот фотография, какое-то письмо. Островский протянул все это политруку, не сказав ни слова.

— Что с тобой? — спросил политрук встревоженно. — Ты свой грех искупил — будь спокоен.

— Ничего, это я так... — попробовал улыбнуться Островский. — Это я после немца... Очень уж противно было его душить. Скользкий был, как червь... Видите какой, с усами!..

Он неестественно громко засмеялся и опять взглянул на документы. Он хотел еще раз убедиться, что ошибки не произошло.

— Что задушил, это хорошо, — ответил политрук, садясь на койку. — А что противно было, — это тебе наука. Если бы ты оружия не бросил, мог бы и пулю истратить. А так пришлось руки марать. Вот жаль только, что у него советский пулемет: может быть, немало он перебил таких, как мы с тобой, из нашего оружия. Видно, какая-то сволочь бросила...

«Сволочь бросила»... Эти слова были для Островского, как удар обухом по голове. Он с ужасом поду-

мал, что, может быть, и его ручной пулемет нашел какой-нибудь Фриц или Ганс и вот сейчас полосует из него по нашим советским людям. И он понял, что еще не искупил свой позор.

С этих пор Островский стал жить особой, напряженной жизнью. Он не только стрелял, не только ходил в атаку и выполнял все, что положено выполнять бойцу, но еще и ползал чуть ли не каждую ночь по полю боя в поисках оружия. Если его часть после неудачной атаки оставляла хоть одну винтовку, то Островский вскоре приносил ее. Он подбирал оружие убитых, отнимал его у попадавшихся на пути вражеских секретов, заползал в тыл к врагам и приносил в часть их оружие. Он стал специалистом этого дела, совершенствовался, придумывал разные приспособления, облегчавшие его труд, и натаскал в часть столько разного оружия, что все забыли о его проступке, все говорили об Островском, как о герое и молодце.

Он тоже обнаруживал в себе какие-то новые чувства, новые качества. Постоянные удачи, связанные с убежденностью и упорством в действиях, породили в нем презрение к опасности. Он часто сам себе удивлялся и даже не понимал, как может он действовать так дерзко, почти нахально — подходить к фашисту вплотную, отнимать у него винтовку или автомат и потом вести врага, дергающегося от страха, под угрозой его же оружия! Это была храбрость, доставшаяся ценой большой внутренней борьбы.

Однажды вечером, собирая, как обычно, на недавнем поле боя брошенное оружие, Островский встретил незнакомого ему лейтенанта с тремя бойцами.

— Чего тут шатаешься? — спросил его лейтенант.

Островский объяснил, зачем он сюда пришел. То ли лейтенант не поверил, то ли ему нужен был еще один боец, но он приказал Островскому вооружиться подобранными гранатами и следовать за ним в разведку.

Шли они недолго. Село, куда нужно было пробраться, лежало внизу у реки. Они спустились по узкой тропке, скрытой в зарослях орешника и ивняка, затем переправились в лодке на противоположный берег. Сначала лейтенант хотел оставить Островского у лодки, но потом взял его с собой, решив, видно, что не может доверить лодку незнакомому человеку, а для охраны оставил своего бойца. Это обидело Островского, однако позже он понял, что лейтенант прав и иначе поступить не мог.

Вчетвером они пробрались к цели. Вошли в дом, чтобы получить у местных жителей необходимые сведения. Вдруг оставленный у двери наблюдатель вскрикнул, подавая сигнал тревоги. Вокруг оказались враги. Разведчики попали в западню.

Начался неравный бой. Засев в хате, разведчики отстреливались от наседавших гитлеровцев. Глядя на Островского, лейтенант приходил в восторг, но обстановка не позволяла ему выражать свои чувства. Когда же, отражая сильный удар врага, Островский уложил гранатой группу фашистов, лейтенант не выдержал и воскликнул:

— Молодец! Ой, молодец!

Но едва Островский успел оглянуться в сторону лейтенанта, как снова начался штурм. Сначала их хотели взять живьем, но потеряли еще пятерых солдат и отказались от этой затеи. Они решили поджечь дом и уничтожить разведчиков.

Островский увидел в темноте линии трассирующих пуль, направленных в соломенную крышу их крепости. Он понял, что наступает конец. Лейтенант был ранен, один боец убит. Островский взвалил другому бойцу на плечи раненого лейтенанта и приказал идти напролом. Сам он, вооруженный гранатами и автоматом, должен был проложить дорогу.

Они выскочили через окно в темень. Уложив гранатой нескольких солдат, замеченных впереди, Островский прорвался. Он приказал бойцу бежать сквозь образовавшуюся брешь к лесу, а сам прикрывал его огнем.

В эти минуты он не думал об опасности, не думал о смерти. Он знал, что если и погибнет, лейтенант скажет политруку о его поведении. Больше он ничего не хотел. Перед глазами своей совести он уже был чист. Хотелось только, чтобы доброе слово политрука было ему достойной, выстраданной наградой.

1943

*Район Воронеж*



## *Леся*

**Р**ядом с большим новым домом, в котором я жил, во дворе под столетним развесистым каштаном издавна стояла низкая глиняная хибарка. В ней поселилась женщина по фамилии Копейка, впоследствии ставшая нашим дворником.

У этой женщины была дочь Леся. Худенькая, маленького роста, с тонкими соломенными косичками за

плечами, она держалась всегда замкнуто и, как мне казалось, сторонилась детей. Часто, проходя по двору, я видел ее одну, сидящую на пороге своего убежища с книгой в руках. Иногда стояла она под развесистым каштаном, но всегда с книгой, всегда погруженная в чтение.

Леся выросла на моих глазах. Только на зиму исчезала она в своей хибарке. Но лишь расцветала весна, девочка снова появлялась на своем насиженном месте. Встречая ее почти каждый день, я не замечал, как она росла, и позже, будучи уже семнадцатилетней девушкой, она все продолжала казаться мне ребенком.

Однажды перед самой войной ее мать попросила устроить Лесю на какую-нибудь работу: девушка уже окончила десятилетку и собиралась начинать самостоятельную жизнь. Я порекомендовал ее своему приятелю Волкобой, секретарю сельского районного комитета партии. Позже он не раз благодарил меня: Леся оказалась аккуратным и усидчивым делопроизводителем, и вскоре в ее руки перешла вся переписка секретаря райкома.

За время войны я часто вспоминал о Лесе. С нею связывались мои воспоминания о нашем тихом дворе, о каштане, ветви которого стучали в окна моей любимой комнаты в четвертом этаже, о летних вечерах, когда, возвращаясь домой, я неизменно встречал Лесю на пороге ее хибарки.

Но вчера о Лесе мне напомнил друг моего детства — севастопольский моряк Дзюба. Он пришел из наших мест, где долгое время партизанил в отряде Волкобая. Оказалось, что и Леся была вместе с ним.

Партизанский отряд организовался в первые дни оккупации. Командир его Волкобой был человек, вну-



шавший к себе уважение всех, с кем ему приходилось встречаться, и его отряд с первых же дней стал большой и грозной силой. Вступил в отряд и матрос Дзюба, который после ранения приехал в отпуск к своей матери и не мог уйти с Красной Армией потому, что был еще совсем слаб. Пошла в партизаны и Леся Копейка. Пошла, может быть, даже потому, что Волкобой очень привык к ней и все свои дела доверял безоговорочно. А возможно, и сама она попросила взять ее в партизаны.

Жил отряд обычной, беспокойной жизнью: нападал на гитлеровские колонны, взрывал железнодорожные мосты, пускал под откос воинские эшелоны. Фашисты не раз чувствовали на своей спине тяжесть неожиданных ударов, которые наносил им Волкобой. Много раз предпринимали они меры к ликвидации отряда: широкие облавы, засады в селах, куда могли прийти партизаны, открытые бои с партизанским отрядом...

Но все было напрасно: как рыба из рваной сети, ускользал Волкобой во время облав. Напрасно просиживали враги в засадах; быстро маневрируя, уходил Волкобой из-под ударов регулярных частей. В союзе с ним находился лес, укрывали его болота и леса, об опасностях сообщали люди окрестных деревень.

На этот раз гитлеровцы решили во что бы то ни стало покончить с партизанским отрядом. Они пустили против него целую дивизию с пушками и танками. Начался неравный, страшный бой горстки людей с хорошо вооруженной армией. Враги окружили лес железным полукольцом и старались прижать партизан к озеру, которое находилось у них в тылу. Бой шел

за каждое дерево, за каждый куст. Бой шел и днем и ночью.

К исходу первого дня был гяжело ранен Волкобой. Осколком мины ему переломило левую ногу выше колена. Его перевезли через озеро и положили в глубокой землянке, покрытой несколькими накатами тяжелых бревен. Волкобой быстро терял силы и вскоре почти совсем лишился возможности управлять боем.

Более страшного удара отряду нельзя было нанести. Волкобой являлся той живительной силой, которая поднимала на ноги истощенных и падающих от усталости партизан. Он был истинной душой всех этих самоотверженных людей. Идея, поднявшая их с оружием в руках на подвиг, была для всех воплощена в этом приземистом, крепком человеке, иногда строгом, а иногда мягком и ласковом. Не трудно представить себе, как поразила всех весть о таком обычном на войне, но всегда неожиданном и страшном горе.

В отряде оставалось мало бойцов, и Леся была единственным человеком, которого можно было вывести из боя без особого ущерба. Ей поручили уход за раненым. Теперь все надежды возлагались на ее сердце и трогательную преданность.

Вечером Леся сидела у блиндажа. Волкобою было очень плохо. За весь день ни на мгновение он не переставал бредить. Теперь раненый утих в тяжелом забытии, и Леся вышла из землянки, чтобы вдохнуть свежего воздуха и поразмыслить.

К ней подошел матрос Дзюба, пришедший с поля боя с донесением командиру.

— Жив? — спросил он тихо, почти затаив дыхание. Леся утвердительно качнула головой.

— А что если...— Дзюба не договорил. Слово, которое чуть не сорвалось, было страшно. Он мгновение помолчал и, как бы обращаясь к себе самому, сказал:— Ведь в его жизни и наша жизнь... Если он не выдержит...

Леся сидела потупившись. Она понимала матроса: Волкобой не имел права умереть. В эти тяжелые дни отряду как никогда нужна была надежда, а она заключалась в нем, в их командире.

— Так-то...— произнес Дзюба неопределенно, будто продолжая какую-то невысказанную мысль.— Донесение вот... Доложи-ка, пожалуйста.

— Спит он. Придешь позже.

— Да ведь дело не ждет. Важное оно.

Больше матрос ничего не сказал. Все, что он мог бы сказать, было понятно без слов. Он бросил на землю окурок, притоптал его сапогом и задумался. Вокруг царил тишина. Только изредка раздавались далекие выстрелы. Ночь принесла отряду краткий покой, но покой этот был неустойчив и не предвещал ничего хорошего.

Леся поднялась с места.

— Ты вот что...— произнесла она шепотом.— Ты иди.

В полумраке Дзюба увидел, как пылают ее глаза.

— Гм... А как же с донесением? Мне нужно решение командира. Медлить нельзя.

— Да, да... медлить нельзя. А ты оставь донесение. Я его командиру покажу. Через полчаса придешь за ответом.

Дзюба встал с дубового пня, на котором сидел все время, протянул девушке лист бумаги и медленно ушел в лес.

Как только матрос исчез, Леся скрылась в землянке. Она не выходила оттуда долго, и когда появилась, матрос снова сидел, ожидая ее.

— Ага, ты уже здесь? — спросила девушка. — Я доложила. Имею ответ...

Матрос внимательно взглянул на девушку.

— Так вот, Дзюба... Патроны с утра расходуйте те, что вот здесь указаны, — она ткнула пальцем в первые строки донесения. — Которые у озера закопаны — не трогай. На случай, если фашисты прижмут нас к озеру, пускай запас будет поблизости. То же самое и с людьми. Тяжело раненные пускай отдыхают. В бой посылать их только в крайнем случае. Пока что придержишься и без них. Да... еще вот что... харч варить здесь: за озером могут кухню разбить, и тогда мы будем голодные...

Дзюба молчал. Он втягивал в себя душистый дым сигарки с такой силой, что в легких слышен был свистящий протяжный хрип.

— Так, так...

— И обсуждать тут не приходится, — добавила она. — Приказ не терпит обсуждений.

Матрос ушел, пораженный угрожающими нотами, которые звучали в последних словах Леси и которых он прежде от этой слабенькой девушки никогда не слышал. Леся еще минуту постояла на воздухе, а затем ушла в землянку. Целую ночь провела она там, почти не выходя наружу. Она не уснула ни на минуту. Ей показалось, что рассвело слишком рано, и только когда в лесу зашелкали птицы, а на востоке засиял розовый горизонт, Леся вышла из сырого убежища.

С этого дня она не допускала в землянку никого. Старый повар Филипп Галаган, приносивший прежде

еду прямо Волкобою, сдавал теперь котелки Лесе. Пищу командиру подавала только она. Лесья брала из рук партизан донесения, сводки и уносила их во внутрь. Через некоторое время девушка выходила с ответом. Если кто-либо приходил с устным докладом, она заставляла хоть коротко изложить суть дела на бумаге, мотивируя тем, что ей легче будет запомнить, а Волкобою воспринять. Ответы, с которыми она выходила к посетителям, всегда были точны, исчерпывающи, и все, кто их получал, удивлялись тому, как преобразилась девушка, какой сосредоточенной и серьезной она стала в эти дни. Казалось, сухая скупость ответов Волкобою, передаваемых через нее, наложили печать деловой строгости на весь ее облик. Она стала собранной и подтянутой, и лицо ее все время выражало умственное напряжение, беспрестанную и сосредоточенную мысль.

На четвертый день гитлеровцы ожесточились до предела. Они нажимали с таким остервенением, что измотанные и утомленные многодневными боями партизаны уже не могли сдерживать их сумасшедшего напора. Бойцы начали отходить к озеру. Теперь выход был один: перебираться на второй берег, покидать лес.

Но в этом уже заключался конец. Во-первых, на озере не имелось достаточного количества лодок. Да если бы они и были, в момент переправы врагу легко было бы перебить отступающих. Во-вторых, отдать лес — значило лишить партизан всех преимуществ, без которых они не могли бы жить и бороться.

Когда Дзюба вышел из лодки и побежал к землянке Волкобою, то увидел Лесю, как всегда, у входа. Но теперь она не сидела на пне, а ходила взад и

вперед большими шагами, по-мужски заложив руки за спину.

Матрос был взволнован. Сейчас у него не было времени для размышлений. Отряд мог продержаться еще час, после чего неминуемо должен быть опрокинут в озеро.

— Ты куда? — угрожающе и тихо спросила Леся, когда увидела, что Дзюба, не глядя на нее, устремился в землянку.

— А ты что, не видишь?! К Волкобою...

— Стой! — крикнула она вдруг изо всех сил, и ее тонкий голос дрогнул.

Матрос удивленно взглянул на девушку и остановился.

— Ты убьешь Волкобая одной своей кислой рожей, — сказала девушка тихо, и в голосе ее звучала насмешка.

Эти слова покорили матроса. Он отступил от двери, и Леся загородила ее своим маленьким телом.

— Разве тебе неизвестно, в каком состоянии командир? — продолжала она, уже в упор глядя на матроса и внутренне радуясь его потупленному взору.

— Все равно конец... а от командира скрывать — преступление, — Дзюба снова взглянул на девушку и уловил в ее глазах все еще непотухающий насмешливый огонек.

— Так-то уже и конец! — воскликнула она. — Больно торопишься.

— Ну, ну... только не заставляй писать... передай на словах, что люди мушек на винтовках видеть не могут — глаза слипаются. А немец свежие силы получил. Скажи, что больше часа...

— Ладно! По тебе вижу, что передавать надо. На твоём лице, небось, больше чем нужно написано,— Леся тихонько засмеялась.— Только ты вот что...— сказала она вдруг серьезно, почти сурово.— Ты ответа не жди. Иди к бойцам и старайся продержаться подольше. А я, ежели ответ будет, сама его принесу.

Дзюба хотел еще что-то сказать, но девушка исчезла. Он услышал только, как щелкнула внутри землянки деревянная задвижка. Мгновение он потоптался на месте, не зная, как поступить. Вдруг из-за леса донесся сильный взрыв и заставил матроса встрепенуться. Очевидно, фашисты попали в один из складов, где хранились боеприпасы, а может быть, партизаны, отступая, и сами взорвали запас, чтобы не оставить противнику.

Спустя минуту матрос был уже в лодке. Он неистово греб одним веслом, все время прислушиваясь к заозерной стрельбе, и думал только о том, как продержаться. Что Волкобой придумает хотя бы временный выход, в этом сомнения не было: Дзюба достаточно хорошо знал своего командира. Кроме того, насмешливый огонек в глазах Леси говорил о том, что Волкобой, верно, высказывал ей какую-то свою надежду. Нужно было спешить, во что бы то ни стало приостановить наступление и удержать за собой боеприпасы до момента, когда Леся принесет приказ Волкобая.

Когда матрос приполз по ходу сообщения в свой окоп, положение было критическое. Беда заключалась не столько в полученных фашистами свежих силах, сколько в том, что бессонница в течение трех суток совершенно истощила партизан. Это были уже не люди, а гени, и каждое движение их казалось сверхъестественным.

Но даже и в этом состоянии все заметили, что матрос действует с какой-то новой уверенностью. Из окопа в окоп пролетел слух о том, что Волкобой пришлет новый приказ, и он пробудил в людях новые силы. Партизаны снова преобразились, собрали остаток сил и остановили врага. Теперь надо было зорко следить, напряженно держать в руках оружие до тех пор, пока не явится спасительный вестник.

С нетерпением бойцы оглядывались, не идет ли кто со стороны озера, от командира. Все чувствовали, что это напряжение последнее и что оно будет владеть людьми недолго. Взгляды отрывались от поля боя только для того, чтобы скользнуть по темной лесной чаще, сквозь которую виднелись голубые проблески озерной воды, но, ничего не заметив, снова обращались вперед, в сторону врага.

И вот кто-то увидел среди деревьев знакомую фигуру Леся. Конечно, она была вестником от командира и имела боевой приказ! Девушка была одета в голубенькое платье и очень ярко выделялась на фоне зелени, только изредка сливаясь с озерной синевой, проникавшей между стволами строевых сосен.

Вскоре Леся скрылась из виду. Она исчезла в ходе сообщения, и теперь взоры обратились в сторону центрального окопа, в котором находился Дзюба. Девушка могла появиться только там!

Через несколько минут она действительно возникла там, где ее ждали. Она вылезла из окопа и, обратясь лицом к партизанам, крикнула тонким, почти детским голосом:

— Волкобой приказал! За мной!

Леся побежала вперед, подняв высоко над головой две тяжелые противотанковые гранаты. Она бежала



быстро, не оглядываясь, твердо уверенная, что партизаны следуют за нею. Голубое ее платье порхало, все удаляясь. Стрельба как-то вдруг притихла: верно, и враги следили за этой удивительной девчонкой, храбрость которой лишила их уверенности так же неожиданно, как вселила эту уверенность в сердца партизан. Леся бежала, все еще не останавливаясь, а за нею катилась волна воспрянувших духом людей. Теперь уже не слышно было призывов ведущей в атаку девушки: ее тоненький голосок тонул в грохоте, возникшем вслед за минутной тишиной. Но все знали, что она зовет, и с восхищением подчинялись ее безмолвному призыву. Он был в ее неудержимом стремлении, в уверенности, которая не позволяла ей оглядываться, во всей тонкой, хрупкой фигурке, ставшей вдруг мощной и величественной.

Атака длилась недолго. Ошеломленные гитлеровцы покатались из леса, бросая оружие. Как бывает всегда в подобных случаях, бегущие в панике потеряли столько, что для нового броска уже сил не имели.

Через час Дзюба снова стоял у входа в землянку. Лицо его торжественно сияло, и он удивленно смотрел на Лесю, снова сидевшую молча на своем пне. Теперь она не препятствовала матросу. Но почему-то, может быть, даже по привычке, он произнес почти умоляющим голосом:

— Теперь я его, пожалуй, не убью своей кислой рожей. Уж тыпусти...

Леся молчала. Матрос еще раз взглянул на ее грустное лицо, на изодранное голубое платье и растрепанную соломенную косичку и, легко толкнув дверь, вошел в землянку.

Он стоял, не веря своим глазам. В землянке не было Волкобая, как, впрочем, не было даже постели, на которой он мог бы лежать. Посредине возвышалась свежая могила, украшенная лесными цветами, а на фанерной звезде, прикрепленной к березовому колышку, написано: «Иван Волкобой, командир отряда имени Ленина».

Дзюба вышел наружу и, минуту помолчав, тихо спросил:

— Когда он умер?

— В тот день, когда его ранило... — дрожащим голосом ответила Леся, не поднимая глаз.

— Значит, ты его именем...

Матрос не договорил. Леся тоже молчала, но теперь уже подняла на него влажные детские глаза и смотрела, будто ожидая приговора.

Дзюба взял в руки ее маленькую соломенную головку и поцеловал в лоб. Сердце не покорялось ему и стучало с такой силой, будто хотело вырваться наружу.

*1943 г.*



### *Наши киевские знакомые*

**К**ак сухой бурьян, гонимый осенними ветрами по пустынным полям, катилась война на восток летом 1942 года. Как бурьян, задерживалась она на мгновение, цепляясь за степные бугры и останки сгоревших селений, и, подхваченная новым порывом грохочущего урагана, катилась дальше — за пределы Украины, к Дону, к волжским степям.

Война ушла далеко от Киева, но город не менял своего облика. Все так же испуганно молчали скверы и площади, все так же грустили каштановые рощи по беззаботному лепету прогуливающихся ребятишек... Люди по-прежнему ютились в сырых подвалах разрушенных домов, прячась от нечистых глаз оккупанта, мучились и тосковали в ожидании чуда, которое многим уже казалось несбыточным.

Однако в зловещем молчании города гитлеровцы усматривали не знак согласия; оно напоминало им скорее о таинственном затишье перед неминуемыми боями, которые еще нужно выиграть.

В первые месяцы своего кровавого пира на этой земле они были заняты виселицами и расстрелами. Огромный Бабий Яр переполнился трупами стариков, детей и женщин. Убиты были все, кого можно было убить, остальных следовало заставить работать.

В оккупантских газетах появились угрожающие статьи. Из репродукторов беспрерывно орали подыпавшие солдафоны, предупреждая саботажников о беспощадной расправе. Но люди на работу не шли. Они прятались в обугленных трущобах и приднепровских лесах, не желая работать даже под угрозой виселицы.

Пришлось переменить тактику. Военная комендатура выписала из Германии актеров и актрис, в уцелевших кинотеатрах стали демонстрировать сусальные кинокартины. Там, где не помогли веревка и автомат, решено было испробовать пряник, испеченный из отрубей и древесных опилок.

Но театры пустовали, а киносеансы посещала лишь тыловая солдатня. Киев с омерзением отшвырнул ядо-

витое угощение. Он был тверд в своем упорстве и работать на врага не хотел.

Гитлеровцы обозлились. Они были готовы вернуться к своим испытанным методам обращения с людьми. Но совсем неожиданно в комендатуру явился начальник концлагеря на Сырце и внес блестящее предложение. Странно, что удивительную находчивость проявил не военный комендант, известный своей изуверской изобретательностью, и даже не фатоватый бургомистр, считавшийся непревзойденным мастером в делах управления непокорными. Нет, блестящая мысль пришла в голову грубому и тупому служаке, которому по роду занятий никогда не приходилось заниматься политической пропагандой и оккупационной дипломатией.

Дело в том, что в числе смертников, которых, как ему случайно удалось установить, не успели расстрелять благодаря перемене оккупационной «тактики», находились любимцы города, знаменитые киевские футболисты Клименко, Тутчев, Кузьменко и непобедимый вратарь Трусевич. Как преклонялся Киев перед их замечательным мастерством! Стоило бы только выпустить этих непобедимых спортсменов на стадион — и город ожил бы, повалил бы из лесов и укрытий. Нужно было заставить знаменитых советских футболистов проиграть... обязательно проиграть — вот что могло бы поднять престиж оккупантов в глазах киевлян и, пожалуй, сдвинуть их упорство с мертвой точки!

Эта выдумка понравилась коменданту города. Ведь унижение славных всегда было оружием низких. Заставить Трусевича пропустить мяч в свои ворота — что еще могло бы в этих обстоятельствах так убедительно говорить о величии третьего рейха!

Утром на стенах домов появилась кричащая афиша. Военная комендатура города извещала не только о предстоящем футбольном матче «Германия—Украина», но и доводила до сведения населения полный список немецких и украинских игроков, не забыв при этом привести имена и спортивные звания футболистов.

Весть о предстоящей встрече облетела город за один день. Впервые за много месяцев люди заговорили о вещах, весьма далеких от их нынешнего бедственного положения. О многом напоминали им любимые имена! В воображении вставали многотысячные толпы, заполнявшие когда-то трибуны стадиона, в ушах звучали возгласы радостного ликования, оглушительные овации... В этих воспоминаниях было много горечи, но была и робкая радость, призрачная надежда...

Никто, однако, не мог понять, как случилось, что прославленные советские футболисты соглашались играть со своими мучителями... Не провокация ли здесь? И самое страшное — не значит ли это, что любимые спортсмены, не раз защищавшие спортивную честь своей страны, изменили ей, решив купить себе жизнь ценой подобной измены?! Многие задумывались, но, поразмыслив, откладывали решение вопроса на день состязания, когда все выяснится и решится само по себе...

В эти дни в Сырецком концлагере шли непрерывные переговоры с советскими футболистами. Играть они согласились сразу. Ясно было, что души спортсменов не выдержали — соблазн был поистине велик. Но вот комендант объявил условия, и футболисты помрачнели. Он, однако, не стал убеждать их в необходимости повиноваться. Не стал он им и угрожать. Он был

убежден, что дело сделано, ибо — можно ли сомневаться в выборе, когда выбирать приходится между жизнью и смертью! С точки зрения оккупанта здесь механически отпадал вопрос о спортивной чести и профессиональной гордости и оставался единственный выход — повиноваться и проиграть. Они, к тому же, не выдадут и тайны своего проигрыша — этого позорного сговора с врагом: ведь иначе этот матч и не мог закончиться — спортивная культура Германии общеизвестна.

Воскресенье выдалось теплым и ласковым. Небо было безоблачно, солнце сияло с самого утра. Из днепровской долины, через вершины огромных деревьев Купеческого сада, переваливал легкий ветерок, наполняя огромную котловину стадиона приятной обволакивающей свежестью. Вокруг тихо шелестели ветви столетних лип, тополя чертили своими макушками невидимые линии на синем полотнище полуденного неба... Постепенно на улицах стали появляться люди; сначала с опаской, а потом все смелее потянулись они со всех сторон в самый конец Крещатика, где за небольшим поворотом находился стадион.

К двенадцати часам трибуны были заполнены. Многотысячная толпа хмуρο молчала, будто не совсем еще веря в реальность происходящего. На центральных трибунах восседали военные со своими истинно немецкими женами и любовницами. Они пришли сюда, чтобы торжествовать весьма своеобразную победу, способную, по их мнению, занять совершенно особое место среди германских побед, и, ухмыляясь, смотрели с высоты центральных трибун на спокойное море молчаливых людей, которым предстояло сегодня получить один из самых поучительных уроков.

Когда оркестр грянул и из-под арки появились футболисты, люди всколыхнулись и глухо зашумели. Они смотрели на изумрудное поле стадиона и слезы застилали им глаза. Будто сквозь туман, видели они яркие пятна спортивных маек — в таких майках играли их любимцы и прежде... Впереди бежал Трусевич. Дальше — Тутчев, Клименко, Кузьменко... За ними семеро остальных. Здесь не могло быть никакого обмана: их походку, движения рук узнавали все. Издали не видно было лиц, но всем передавалось их волнение... И стадион всколыхнулся, как давно в былые времена, рассыпчатым грохотом грянули рукоплескания, в единый гул слились тысячи голосов... Киев встречал и приветствовал своих любимцев, и это приветствие было не только поддержкой, но и предупреждением: герои не смели проявить нерешительность или совершить роковую ошибку! Стадион гремел, и оккупанты — впервые за много месяцев — не препятствовали проявлению человеческих чувств: чем больше станут сегодня киевляне восхищаться своими героями, тем выше взлетит слава тех, кто их победит!

И состязание началось.

Легким ударом передал мяч немецкий форвард на правый край. Кожаный шар взлетел в небо, пересек зеленое поле и вернулся к немецкому форварду. Затем, уверенно и быстро продвигаясь вперед, он повел мяч к советским воротам. Стадион замер. На центральных трибунах одобрительно зааплодировали. Через несколько минут немецкий форвард ударил по воротам, но Трусевич с изящной легкостью поймал мяч и сильным ударом послал его Тутчеву — на центр поля.



Теперь игра стремительно перенеслась к противоположным воротам. Здоровенный полузащитник, рванувшийся к мячу, неловко взмахнул ногой, стараясь отнять мяч у Клименко, но мяча уже не было, и он ударил ногой в пустоту. Взмахнув руками, немецкий полузащитник распластался на траве. По рядам прокатился смехок. Пострадавший поднялся и стал неуклюже отряхивать свою майку.

В это время Тутчев передал мяч Кузьменко. Немецкий вратарь заметался между штангами. Кузьменко резко ударил по воротам: пролетев между ногами вратаря, мяч затрепыхался в сетке.

Стадион загремел от восторга. Оркестр нестройно заиграл туш, хотя это не только не предполагалось, но даже не полагалось. Капельмейстер, однако, сразу же оборвал музыкантов — то ли поймал чей-то неодобрительный взгляд, то ли сам сообразил, что туш нехвата. А военный комендант что-то быстро говорил на ухо наклонившемуся перед ним начальнику концлагеря, заставляя того густо багроветь.

Тем временем на поле продолжалась игра. Как высший страж отвлеченной справедливости, среди поля замер судья. Он оставался вдалеке от игроков именно потому, что в это время немецкий хавбек подставлял ногу бегущему к воротам Клименко, стараясь запретным способом завладеть мячом. Но, даже не глядя на игроков, судья понимал, что через мгновение мячом завладеет Кузьменко и снова стремительно поведет его к воротам. Так и случилось. Еще некоторое время мяч переходил от Тутчева к Клименко и обратно, описывая плавные траектории поперек всего поля, и, наконец снова стремительно полетел к Кузьменко.

Сильный удар сбивает с ног немецкого вратаря.

На центральных трибунах начинается смятение. В оркестре уже не смеет заикнуться ни одна труба. Стадион гремит от восхищения, несмотря даже на появившихся повсюду стражей нового порядка. Киев торжествует, восхищаясь новой славой своего знаменитого стадиона, и этому ничто не может помешать. Здесь слишком много людей, чтобы их можно было запугать обычными способами!

Военный комендант делает многозначительный жест в сторону оторопевшего судьи. Тот понимает, что это значит. Его подопечные начинают играть с неслыханной грубостью. Сильным ударом в бок кто-то сбивает с ног бегущего с мячом Тутчева. Тот тоже падает, но его падение почему-то не вызывает насмешек публики. Положение игроков ясно теперь всем, но публикой овладевает не растерянность, а спокойная твердость. Вот два дюжих немца, мигнув друг другу издалека, устремляются в сторону Кузьменко, намереваясь с разбега раздавить его двусторонним ударом. На центральных трибунах чувствуется оживление: молодчики действуют настолько открыто, что маневр замечают даже здесь! Но на стадионе царит спокойствие: ловким и неожиданным движением Кузьменко ускользает — коварный маневр врага заметил и он. С разбега немцы сильно ударяют друг друга. И снова хохот прокатывается из края в край, еще долго не утихая над колышущимся стадионом. Он сменяется ревом восхищения, когда Кузьменко, снова прорвавшись к немецким воротам, ударяет по ним с таким остервенением, что, попав в штангу, мяч лопається и мягкой тряпкой падает в ворота.

Люди уже отчетливо и ясно видят, что перед ними разыгрывается нечто значительно большее, нежели

футбольное состязание. Это открытый бой, а не матч «Украина—Германия». Все понимают, что можно убить и этих безоружных людей, как убили всех, кто заполнил своими стопами и кровью Бабий Яр. Но каждому ясно, что никто не в силах у них выиграть этого боя, как и того великого сражения, которое кипит по всей земле.

Второй тайм начинается уже при совершенно опустевших центральных трибунах и протекает с прежней стремительностью. На своем месте остается лишь военный комендант. Сзади стоит начальник Сырецкого концлагеря с бессмысленным и дергающимся лицом. Он уже не следит за тем, что происходит на поле, а думает о крахе своей выдумки, которая еще час тому назад казалась всем такой остроумной. И когда в немецкие ворота врывается пятый гол, и комендант подымается, чтобы тоже уйти, он многозначительно улыбается и тихо произносит:

— Я закончу игру лично, если позволите.

— Да, да...— кивает комендант и бросает на него уничтожающий взгляд, который заставляет поежиться даже этого старого тюремщика.

...Когда раздался заключительный свисток судьи, публика хлынула к полю стадиона. В эту минуту огромная толпа казалась одним существом, объатым единой великой страстью. В поразительной победе киевлян было столько обнадеживающего и многообещающего, что молчаливое упорство, с которым люди прятались в своих подвалах до сих пор, показалось всем почти постыдной трусостью. Ведь их герои не побоялись никого! Они вышли на битву самоотвержен-

но и открыто. И эта честная и открытая победа увенчала их головы такими вечными и неувядающими лаврами, перед которыми бессильна даже смерть.

Люди бежали по полю, не помня себя от возбуждения и восторга. Ужас действительности на миг свалился с их плеч, и они чувствовали себя совершенно свободными. Они спешили высказать свое восхищение тем, кто превратил спортивное поле в арену великой победы над поработителями их родной страны. Все — голод, смерть, унижения, — все это было забыто перед лицом удивительной победы, радость и упоение которой чувствовал теперь каждый человек.

Каким-то призрачным и странным казался крытый автомобиль, пробивавшийся сквозь возбужденную толпу, окружавшую победителей. Дико и, казалось, совсем неуместно звучал писклявый сигнал. Наконец машина пробилась к центру поля и из нее выскочила целая орава таких же призрачных солдат... Футболисты по-одному входили в смертный автомобиль и, медленно оглядываясь, бросали последние взгляды на поле своей славы, на людей, которым оставляли свои сердца... И когда они скрылись в темноте черной машины и за ними навсегда захлопнулась глухая железная дверь, люди чувствовали, что уходящие на смерть герои не уносят с собой своей светлой надежды. Она оставалась здесь, в приумолкшей толпе, манящая и вдохновляющая, зовущая к открытой борьбе и конечной победе.

*1943 г., ноябрь.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Об этой книге и ее авторе. <i>Л. Хинкулов</i> . . . . .	3
---	---

### ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

Хороший год . . . . .	11
Киев, май . . . . .	19
Мысли о нашей армии . . . . .	27
У нас на Днепре . . . . .	36
Река начинается от ручейка . . . . .	46

### НЕ ОСЛОЖНЯЙТЕ ЖИЗНИ!

Не осложняйте жизни! . . . . .	55
В защиту шофера . . . . .	65
Поговорим о детях . . . . .	76
Поговорим о родителях . . . . .	86
Это касается всех . . . . .	96
Обыкновенная история . . . . .	105

## СЕРДЦЕ ШОПЕНА

Дума о песне . . . . .	117
О народности в эпоху спутников . . . . .	126
Сердце Шопена . . . . .	136
Поездка в Грецию . . . . .	144

## ГРОЗЕН ДНЕПР

Дыхание пережитого . . . . .	163
Грозен Днепр . . . . .	167
Улица развалин . . . . .	176
Киевские каштаны . . . . .	186
Рассказы о Ленине . . . . .	194
Подарок от Ленина . . . . .	194
Гвардейское знамя . . . . .	197
Наши седые матери . . . . .	200
Искушение мужеством . . . . .	206
Леся . . . . .	216
Наши киевские знакомые . . . . .	228

---

*Савва Евсеевич ГОЛОВАНОВСКИЙ*

**ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ**

Редактор *П. Карелин*  
Художник *Э. Толкачев*  
Худож. редактор *И. Смирнов*  
Техн. редактор *А. Гинзбург*  
Корректор *В. Полонская*

\* \* \*

В 04454. Подл. в печ. 11/IX 1959 г.  
Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub> мм. Бумажн. л. 3,75,  
Печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 10,28. Уч.-изд.  
л. 8,53. Зак. 897. Тираж 90.000 экз.,  
(1 завод 1—60.000 экз.)

Цена 3 р. 15 н.

\* \* \*

Типография «Известий Советов де-  
путатов трудящихся СССР» имени  
И. И. Скворцова-Степанова, Москва,  
Пушкинская пл., 5,